



Людмила Евгеньевна Улицкая Человек со связями (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17740312

Человек со связями : [повести, рассказы, эссе] / Людмила Улицкая: АСТ; Москва; 2016

ISBN 978-5-17-096307-2

Аннотация

Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке сбежать от обыденности, неразрывном переплетении лжи, а точнее – выдумки, с реальной жизнью («Сквозная линия»); размышления о том, что же есть судьба, если она так круто меняется из-за незначительных на первый взгляд событий («Первые и последние»); долгое прощание с жизнью, в котором соединяются «тогда» и «сейчас», повседневная кутерьма и вечность, понимание, что всё заканчивается и ничего не проходит («Веселые похороны»)...

«Литература – это художественное осмысление связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом и занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику» (Л. Улицкая).

Содержание

Веселые похороны	5
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Людмила Улицкая

Человек со связями (сборник)

© Улицкая Л. Е., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Веселые похороны повесть

1

Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.

Душ был всё время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.

Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.

Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:

– Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.

Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.

Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она всё время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.

Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: “PIZДЕЦ!” Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались...

Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.

Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.

А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни –

невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.

В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было – и ерунды даже.

Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:

– Как дела, старик?

– А-а, ты... Расписание привез?

– Какое расписание? – удивился Фима.

– На паром... – слабенько улыбнулся Алик.

“Дело к концу, – подумал Фима. – Сознание начинает мешаться”.

И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.

“Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу”, – подумала девочка.

Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.

Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.

Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:

– Придется сказать тебе одну вещь.

Правая рука его висела вдоль тела как неживая. Левой он прижал Ирину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:

– Ирка, я скоро помру.

Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер... Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение

внутри, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.

– Зайдем ко мне, – предложил Алик.

– Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. – Ирина посмотрела на Тишорт.

Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:

– Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?

– К этому рыжему? Хочу.

И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно – мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орала друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съезжилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:

– Да неужели тебе в голову не приходило, что всё дело в асимметрии? Всё дело в этом! Симметрия – смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..

– Да не ори ты! – кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент ее был сильнее обычного. – А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?

Алик опустил руку:

– Ну, знаешь...

Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало...

2

Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.

Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.

– Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!

Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.

– А я, Ниночка, вас не забываю. Все время с Аликом работаю. Вчера с шести вечера его держала... – Она поднесла к Нинкиному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми ногтями. – Верить ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу... Жара эта проклятая еще... Вот, принесла последнее...

Она вынула из матерчатой сумки три темные бутылки с густой жижей.

– Вот. Натирку новую сделала и дышалку. А эта – на ноги. Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь, а сверху мешочек цельнофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожа сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу.

Нинка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке – прохладная. Понесла в спальню. Опустила жалюзи и поставила бутылки на узкий подоконник. Там уже была целая батарея.

А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.

Пока Нинка, трясая своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Алику на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Мария Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:

– Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет... Однако всё в Божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, ан нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то... Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку... Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь – встает. В Бога надо веровать, Фима. Без Бога и трава не растет!

– Это точно, – легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.

Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает и в ближайшие дни наступит смерть от удушья. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, – когда отключить аппарат, – была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого довеска искусственной жизни.

Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику снотворное, которое снимет страдания удушья и своим побочным действием – угнетением дыхательного центра – убьет... Но делать было нечего – положить Алика в госпиталь по “скорой помощи”, как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно...

– Удачи вам, – мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь. “Обиделся он, что ли?” – подумала Марья Игнатьевна.

Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То есть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелегальной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только всё удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно сказать, с того света вынимаю, чего мне бояться... Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэттене и сразу же решила, что ей знахарку Бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по мракобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.

Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный манер: слабое, сладковатое и непрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала – ложечкой в чашке с чаем – и положила ложку на стол.

– Вот слушай-ка, чего тебе скажу, – строго сказала она. – Крестить его надо. Всё. Иначе – ничего не поможет.

– Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! – взвилась Нинка.

– А ты не ори, – нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, – уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. – Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. – Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А крестишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как... А так не смогу... – И она театрально развела ручками.

– Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Смеется. Пусть, говорит, твой Бог меня беспартийного примет, – опустила Нина свою слабую маленькую головку.

Марья Игнатьевна выпучилась:

– Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же Господу Богу партийные?

Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна налила еще чайку.

– Я о тебе жалею, деточка. У Бога обитателей много. Я хороших людей разных видела, и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиенный – крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним прожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную... – увещевала Марья Игнатьевна.

– Как – втемную? – переспросила Нина.

– Идем-ка отсюда, от народу, – зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаз, накрытый розовой крышкой, а Нинку усадила на пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нинка и получила все необходимые наставления...

Вскоре пришла Фаина, крепкая, как шелкунчик, с деревянным лицом и проволочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.

– Фотоаппарат купила, – с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой новенькой коробочкой. – “Полароид”! С обратимой пленкой! Ну давайте же фотографироваться!

Для нее в этой стране было много такого, чего она еще не попробовала, и она торопилась поскорее всего закупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.

Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изгололье. Подтянула его повыше, прижала его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жительствоваала “душка”. И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше – спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.

– Девки, в кучу собирайтесь, петушок пропел давно! – крикнула она улыбчивыми губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной упаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.

Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:

– Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.

На самом деле на первом плане были трубочки мочеприемника.

– Ну вот еще, такую красоту прикрывать, – возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.

– Мало проку от этой красоты, – заметил он.

– Файка, погоди, – попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нинкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.

– Пусть отдохнет немножко, на воле побегаает...

Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала всё Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки всё наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.

Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году всё испробовала сначала с Джеффри Лещинским, а потом с Томом Кейном и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла... Чего они все к нему так липнут...

Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула всё аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она всё сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.

Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.

Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону паррома и всё думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами – русскими, еврейскими, американскими, – окружающими ее с самого рождения...

3

Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало и обострялось одновременно. Всё слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбежались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.

Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил... Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.

Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала... Скрябинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом – механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты

его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.

Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве... Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.

И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина – окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она сползла на задку вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодицы. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал их друг другу для первой любви, и они всё делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.

Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем всё растущего чувства... А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:

– Зачем ты кокетничаешь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.

Он ей и вправду понравился.

– Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, – говорила она потом Алику.

Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки – еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, – обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лилового неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.

Писатель, ничего не заметивший, рассказывал байку об украденной генеральской шинели и сам себе похихатывал.

Алик сделал шаг к окну... А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку, нащупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела... Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начинающими полнеть щеками – он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полтораэтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильнее арифметики.

Руки у Алика стали мокрыми, по спине стружкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.

Медленно, царапая носками туфель затвердевшее от страха небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:

– Беги! Беги скорей!

Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху...

Еще два года они промаялись, всё не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось всё самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни разлюбить. Гордость была дьявольская – в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.

Ирка первой подвела черту: нанялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и она уехала на большие гастроли на всё лето, с шапито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу – переехал в Питер...

Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особняка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть такие детали, которые вроде бы давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына...

Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе “Божественную комедию” по-итальянски и довольно коряво пересказывала каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования – ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Всё это он уносил с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и первоклассно играть на бильярде...

Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.

Пока он был в сонном забытии, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: сублильных, с большими лбами и маленькими ротиками.

– Либин стремится к совершенству, – еще недавно шутил Алик. – Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.

Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.

Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавистная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую неделю весь квартал донимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.

– Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? – тихо спросил Алик.

– Проще тебя заткнуть, – отозвалась Валентина и нацепила на Алика наушники.

Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.

Валентина поставила ему джаплиновский регтайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и ночных блужданий по городу.

– Спасибо, зайка, – дрогнул веками Алик.

Всех их он звал зайками и кисками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, – с родной речью, которая с годами становилась всё более инструментальной и утилитарной. Новый, американский

язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное чернословие и легкая интонация еврейского анекдота.

– Боже ж мой, – ёрничала Валентина, – это же гребаный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них один хедик.

Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Прележней пока не было. Мочеприемник больше не надевали – кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголок. Нинка дремала в кресле, в мастерской, не выпуская из рук стакана.

Либин безуспешно возился с кондиционером. Не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые он забыл дома.

4

Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник, за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нинка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась. Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая напала на Алика и скручивала его со страшной силой, а просыпаясь, каждый раз надеялась, что всё это наваждение ушло, и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: “Зайка, а что это ты тут делаешь?”

Но ничего такого не происходило.

Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз, он сказал:

– Когда эта проклятая жара кончится?

Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либин составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.

– Легче? Легче, да? – затребовала Нинка немедленного ответа.

– Вроде легче, – согласился он.

Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:

– Алик, прошу тебя, сделай это для меня.

– Что? – Он не понимал или делал вид, что не понимает.

– Крестись, и всё будет хорошо, и лечение поможет. – Она взяла в обе руки его ослабленную кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. – И страшно не будет.

– Да мне и не страшно, детка.

– Так я приведу священника, да? – обрадовалась она.

Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:

– Нин, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже нравится, хотя с чувством юмора у него было не всё в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.

Нинка сцепила свои худущие пальцы и затрясла ими:

– Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.

– Кто придет? – переспросил Алик.

– Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя... – Она гладила его по шее острым языком, потом провела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазняла в крещенье – как в любовную игру.

Он слабо улыбнулся:

– Валяй. Веди своего попа. Только с условием: раббая тоже приведешь.

Нинка обмерла:

– Ты шутишь?

– Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию... – Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.

“Поддался, поддался, – ликовала Нинка. – Теперь крещу”.

Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смешлив, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.

Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.

Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообразила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-фиш, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.

Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.

“Всё”, – решила она.

– Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? – услышала она в трубке дикий вопрос.

“Напилась”, – подумала Ира. – Да.

– А ты не могла бы его разыскать? Алик раббая хочет.

“Нет, просто совсем сошла с ума”, – решила Ира и сказала осторожно:

– Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время всё равно никому позвонить не могу.

– Ты имей в виду, это очень срочно, – совершенно ясным голосом сказала Нинка.

– Я завтра вечером заеду, о’кей?

Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.

Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех няnek и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассницы и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она всё никак не задается, и умненькие мальчики и девочки кидаются в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, – совершенная уверенность, что жизнь

начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театральном-художественном училище по прозвищу Змеиный Яд: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.

При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить – она складывала гигантский пазл. При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадки веселья – меланхолией.

Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и неряшливость... Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем женским типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окружающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.

У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к “гадким бумажкам”. И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.

В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.

Кроме денег и огня была еще одна вещь, уже вполне неосознанная, – безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначительней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиентки-певицы, по просьбе Тишорт пригласила Алика с Нинкой в театр. Они заехали за ними и оказались свидетельницами того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие платица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нинкой какого-то платья наугад и не сказал ей:

– Вот это. К опере бархат – всё равно что сосиски к пиву.

Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.

Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но в отличие от Нины у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех... Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливают глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, – всё легко и просто, просто и легко... И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываешь дорогостоящую американскую профессию... И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило – не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.

“Прошлое окончательно и неотменимо, но власти над будущим не имеет”, – говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.

Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тишорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.

Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить... А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов как белая голубка среди старых воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Англию, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но всё же не заподозрил Харриса в интересе к своей миниатюрной помощнице. Отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь всё шло к тому, что Харрис женится...

И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.

Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.

В общем, получилось глупо...

Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне топталась опять знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.

Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси – в этом доме все почему-то начинали пить “отвертку” – апельсиновый сок с водкой... Наконец выползла Нинка.

– Так зачем тебе понадобился Готлиб?

– Какой Готлиб? – удивилась Нинка.

– О господи, да ты же ночью звонила...

– А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб... Алик сказал, чтобы привезли раббая, – невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиоткой. Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:

– Да зачем ему раббай? Ты ничего не путаешь?

Нинка просияла:

– Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.

Ирина от ярости зашлась:

– Нин, если креститься, то, наверное, священник нужен, а?

– Само собой! – кивнула Нинка. – Само собой – священник. Это я уже договорилась.

Но Алик попросил... он хочет еще и с раббаем поговорить.

– Он хочет креститься? – удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.

Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.

– Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда – креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его Бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма... Это нельзя себе представить...

Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка...

– Надо скорее, скорее. – Нинка вылила остатки сока в стакан. – Ириша, купи мне, пожалуйста, сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет...

Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, – туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.

5

О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тишорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.

Ирка проеврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, всё ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Лева записку ровно в два слова: “Я уезжаю”. Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоциональный бунт – больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.

Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и шелка, а по вечерам, нацепив перья и блески, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов. Цирковое училище было не фунт изюму – настоящая профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней ванны принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.

Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она поменяла предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.

Со времен ее шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.

Бывшему мужу Лева развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатики, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь

лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подружкам:

– Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.

Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.

Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, пока она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которые она с собой привезет.

Контора его была довольно замурзанная, но дело, которое здесь варилось, было придумано когда-то Ирккой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Левае удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда весьма смягченным и реформированным, но не забывшим о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.

Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трэфными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплошным надувательством.

Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавшихся щек, да и лицо утратило бело-розовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.

“Жемчужина, настоящая жемчужина”, – подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.

Ирина засмеялась прежним легким смехом:

– Я рада, Левушка, что тебе нравлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.

– И пятеро детей, Ирочка, пятеро. – И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. – А как Маечка? – вдогонку спросил он.

– Нормально, взрослая девица.

Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.

– Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббаем. Можешь это устроить?

– И это вся твоя проблема? – Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то имущественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке... Он был человек порядочный, но обременен семьей и ненавидел непредвиденные расходы. – Если тебе надо, я приведу хоть десять. – Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.

– Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, – попросила она. Лева обещал позвонить сегодня же вечером.

Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к больному сразу после конца субботы.

Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нине, что раббай придет в воскресенье утром.

Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Нинка придавала большое значение тому, что священник появится первым.

6

Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти и родственные. Родство было дальним, трудновычисляемым, по деду, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.

– Системное, – определял его Берман.

Оба они чуяли, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака... Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта – точечные воспаления...

Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.

В отличие от Фимы, Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.

Область эта была новая, только обозначившаяся.

“В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда”, – с огорчением думал он.

Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.

Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современного компьютера, последние остатки энергии – на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий...

Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.

Долгов у Бермана было больше четырехсот тысяч, а у Фимы – четыреста долларов, то есть, по американской логике, один процветал, второй же находился в самом жалком положении. Жили они в одинаково паршивых квартирах, ели одну и ту же дешевую еду. Разница только в том и заключалась, что Берман купил себе три приличных “докторских” костюма, а Фима обходился бедняцкой одеждой.

– Как живет вся Америка, так живем и мы, – усмехался Берман и фамильярно шлепал Фиму по плечу.

Оба прекрасно понимали, что если уж Берману под его голову, образование или авантурный проект дают такие кредиты, значит, всего этого он стоит. И потому он мог бы уже сегодня переехать в хороший Ист-Сайд, если б не был скуповат и не осторожничал.

Фима ежился. Зависть не зависть, но нечто болезненное шевелилось в душе. Надо отдать Берману должное: открывая лабораторию, он предложил Фиме пойти к нему техникум, однако для этого надо было закончить какие-то специальные курсы, а Фима всё еще мусолил английские учебники, делал вид перед самим собой, что в будущем году уж точно он мобилизуется и сдаст наконец проклятые экзамены. . . словом, от Фиминого предложения он отказался. Принять – означало бы полную и окончательную капитуляцию.

Когда-то в России они были на равных, два молодых талантливых врача, знающих себе цену. Здесь, благодаря к делу не идущей способности к лопотанию на этом собачьем языке, Берман так далеко ушел, что Фиме никогда уже не дотянуться. Но в данном случае, с Аликом, они по-прежнему были на равных – два врача возле одного больного.

Теперешняя встреча представляла, собственно говоря, консилиум. Фима был первым врачом, к которому обратился Алик, когда правая рука стала ему изменять. Два года тому назад.

“Ерунда, профессиональное переутомление, может, тендовагинит”, – поставил Фима первый диагноз, но быстро спохватился. Левая рука тоже начала сдавать. Если бы процесс не шел так стремительно, можно было бы говорить о рассеянном склерозе. Нужно было большое хорошее обследование.

Провел первое обследование Берман. Бесплатно, конечно, еще и сам изотопы оплатил. Компьютер ничего не показал.

– Американская штучка, – ухмыльнулся Берман, – не хочет бесплатно работать. . . Пока ты с виду здоров, покупай страховку, старик. Она начинает действовать через полгода, но я тебе гарантирую, что такие вещи сами собой не проходят, – вынес свое заключение Берман.

Но денег на страховку не было, к тому же Алик никогда не думал о том, что будет через полгода. По этой же причине, а также из отвращения к очередям, чиновникам и казенным бумажкам, оставшегося у него с советских времен, у него никогда не было американских пособий. Среди иммигрантов было немало людей, которые чуть ли не соревновались в ловкости по выдавливанию разного рода подачек и льгот – от продовольственных карточек до бесплатных квартир, Алик же ухитрился прожить почти два десятилетия беззаботной птичкой, работая легко и потаенно: у многих создавалось впечатление, что живет он нашармачка, на авось. Особое раздражение он вызывал как раз не у честных работяг, а именно у принципиальных бездельников и отъявленных ловчил.

Словом, не было у него никогда никакой страховки, как и постоянной работы, и рассчитывать на это не приходилось: меньше, чем когда-либо, был он теперь способен высидеть многодневные очереди в бесконечных коридорах и получить необходимые бумаги.

К счастью, американская система медицинского обслуживания, компьютеризованная и продуманная, оставляла некоторые щелки, в которые можно было всунуться.

Первые анализы были сделаны по чужим документам. Кровь молчала.

Первую госпитализацию организовали на улице: вызвали “скорую помощь” и разыграли небольшой спектакль. Хозяин кафе напротив дома вызвал машину, сказавши, что человек упал без сознания возле его двери. Человек этот лег на три сдвинутых стула, свесил рыжий хвост и, подмигивая приятно-хозяину, минут пять ждал машины. Его забрали, провели обследование, дали medicaid на время пребывания в больнице.

Лечили его невропатологи, ставили капельницы, вводили положенные лекарства. Всё было довольно уныло, и Алик из больницы сбежал. Фима устроил ему скандал: что бы

там ни было, назначения были хорошие, лечение симптоматическое, но другого и быть не может, когда диагноз не поставлен. Фима настаивал, чтобы он лег снова, и единственный способ снова туда попасть – сделать “мастырку”. Фима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алик предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали...

Так всё тянулось. Алик ложился, снова выходил. Не ясно было, помогает ли лечение, – кто ж знал, что было бы без него. Но правая уже висела плетью, левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Уставал. Спотыкался. Потом упал первый раз. И всё это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался.

Вторая госпитализация была гораздо более сложным делом. Алика привезли к Берману в лабораторию, Берман сам вызвал “скорую”, сказал, что у него тяжелый больной на приеме. “Скорая” потребовала письменного свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел, – она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача, и первую неделю Алик оживился, ему, кроме обычного лечения, делали иглоукалывания, прижигания, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается...

Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное ствольное поражение, таинственная онкология...

Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные глаза...

- Ничего, Фима. Ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка.
- Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно, – поморщился Фима.
- Сделай морфин или что там есть...
- Ладно, всё ясно, – пробурчал Фима.

Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не существовало.

7

Отец Виктор пришел около девяти. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубаше, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был чемоданчик-дипломат и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с невинными зелеными буквами N и Y он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос.

Общество по случаю субботы было многолюдным: Валентина, Джойка с сереньким Достоевским под мышкой, Ирина, Тишорт, Файка, Либин с подружкой, все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому не известная гостя из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставила на несколько дней старая знакомая.

Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, немного выпивая

и шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения: таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. Было больше похоже на вернисаж, чем на покои умирающего.

Отец Виктор как будто растерялся на мгновение. Но Нина быстро подхватила его под оттопыренный локоток, на котором всё лежала кепочка, и усадила возле стола.

– Сэр-цээ, тэ-бэ так хочется покоя... – пел Шмуль сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанчики, без устали наяривающие внизу, под окнами.

Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика. Эту пророческую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Анька Крон, проживающая ныне в государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики:

– Ой, не жмите мне так горячо! Ой, Фая, скажите мне, только честно, как перед Богом: вы кушали чеснок?

Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс ее розовую руку и сказал:

– Таки приятно с вами познакомиться.

Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине.

Нинка кивнула – Шмуль тут же замолк, Либин легко вынул Алика из кресла и отнес, как ребенка, в спальню.

Приезжая москвичка дернулась: смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, всё было довольно обыкновенно: больной человек в кругу друзей, – но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое тело... А в начале весны он еще сам перебирался из спальни в мастерскую...

Алика уложили в спальне, отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, выскользнула из спальни и села на пол снаружи, прислонившись спиной к двери. Вид у нее был стерегущий и отрешенный. Она была вполпьяна, но держалась.

“Как глупо и нелепо, – думал Алик. – Симпатичный, кажется, человек, напрасно я поддался...”

Отец Виктор сел на скамеечку возле постели, совсем близко к Алику.

– У меня есть некоторые профессиональные трудности, – начал он неожиданно. – Видите ли, большинство людей, с которыми я общаюсь, мои прихожане, они совершенно уверены в том, что я способен разрешить все их проблемы, и если я этого не делаю, то исключительно из педагогических соображений. А это совершенно не так. – Он улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что и священник понимает всю глупую неловкость положения, и испытал некоторое облегчение...

Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал от всё усиливающейся одышки и нестерпимого чувства растворения себя. Вместе с весом тела, живым мясом мышц, уходила реальность жизни, и потому ему так приятны были полуобнаженные женщины, облепавшие его с утра до ночи. Алик давно не видел вокруг себя новых людей, и это новое лицо, с нечисто выбритой с одной стороны щекой – бородка у него была маленькая, на западный манер, – с крапчатыми буро-зелеными глазами, отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями.

– Нина очень хотела, чтобы я с вами поговорил, – продолжал священник. – Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение. И я не могу отказать ей в ее просьбе.

Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, испускала дух и снова оживала. Алик поморщился.

– Да я неверующий, отец Виктор, – грустно сказал Алик.

– Что вы! Что вы! – замахал рукой священник. – Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы, скорее всего, из России вывезли. Уверяю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести...

– Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, – отозвался Алик.

Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.

“И он совсем не глуп”, – удивился Алик.

Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.

– А у Нины, – отец Виктор махнул рукой в сторону двери, – да вообще у большинства женщин всё идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные...

– А вы женолюб, отец Виктор, как и я, – подколот его Алик.

Но тот как будто не понял.

– Да, ужасный женолюб, мне почти все женщины нравятся, – признался священник. – Моя жена мне постоянно говорила, что, если бы не мой сан, я был бы донжуан.

“Какие же бывают простецы”, – подумал Алик.

А священник развивал тему дальше:

– Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да... Такая происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев: собственническая, алчная любовь преображается, и они через бытовое, через низменное, приходят к самой Божественной Любви... Не перестаю поражаться. Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил: сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица... Не оставляют вас ваши подруги... Все они мироносицы, если их поскрести...

Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.

“Конечно, из первой эмиграции”, – догадался Алик.

Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.

– Жалко, что мы не познакомились раньше, – сказал Алик.

– Да-да, жарко, – невпопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. – Это ведь, знаете, диссертацию написать можно – о различии в качестве веры у мужчин и женщин...

– Какая-нибудь феминистка, наверное, уже написала... Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам “Маргариту”. Вы любите текилу? – спросил Алик.

– Да, кажется, – неуверенно ответил священник.

Встал, приоткрыл дверь. За дверью всё еще сидела Нинка с горючим вопросом в глазах.

– Алик просит “Маргариту”, – сказал он Нине, и она не сразу поняла. – Две “Маргариты”.

Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.

– Ну что же, выпьем за женщин? – с обычным добродушным ехидством предложил Алик. – Вам придется меня поить.

– Да-да, с удовольствием. – Отец Виктор стал неловко совать в рот Алику соломинку.

Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не бывало. Умиравших он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.

Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:

– Мужское содержание веры – брань. Помните ночную борьбу ангела с Иаковом? Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение – слишком утилитарная идея, не правда ли?

Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно, что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно – ведь ощущений вообще становилось всё меньше и меньше.

– Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл “стяжанием Духа Святого”. Да... – Он замолк и грустно задумался.

Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда...

Индийская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.

“Как же я стал слаб”, – думал Алик.

Чем-то пронял его этот простодушный и храбрый человек. Почему он производит впечатление храброго – об этом надо подумать... Может быть, потому что не боится показаться смешным...

– Нинка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придает этому большое значение. А по мне – пустая формальность.

– Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, – он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, – я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. – И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.

Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого третьего. И вообще третий – персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нинка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли...

– Но я готов в конце концов это для нее сделать. – И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.

Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.

– Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжело больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать... Знаете, давайте помолимся вместе. Как можем.

Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх гражданской одежды подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.

Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, прищипленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя: “Господи, помоги мне, помоги!”

В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел всё детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча...

8

Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала: всё то же, но в четыре раза уже... Ирина от смеху чуть не пода-

вилась, но мгновенно с собой справилась. Лева сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией:

– Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес...

Ирина шлепнула ладонью по лбу:

– Ё-мое! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!

Лева только руками развел, но тут же вспомнил о раввине, который стоял рядом – с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.

Тишорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:

– Ой, мышонок! Мышонок мой!

Он поцеловал ее в маковку – выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл дочкой.

“Бессовестный, до чего же бессовестный, – думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. – Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого!” Она вильнула немного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.

Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес: “Good evening”.

– Реб Менаше, – представил Лева раввина. – Из Израиля.

Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подряснике. Нина кинулась к нему:

– Ну что?

– За мной дело не станет, Нина. Я приеду... Давайте так: почитайте ему Евангелие.

– Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, – огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.

– Сейчас он просит еще одну “Маргариту”, – смущенно улыбнулся отец Виктор.

Увидев священника, Лева крепко вцепился в Ирину руку повыше запястья:

– Как это понять? Это что, шутки у тебя такие?

Ирина узнала его яростный взгляд и мгновением раньше самого Левы почувствовала его вспыхнувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой.

– Да никакие не шутки, Левочка. – Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.

Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он всё больше распалялся:

– Сколько раз я себе говорил: нельзя с тобой связываться! Всегда получается цирк какой-то! – шипел он сквозь дрожащую от злости бороду.

Это была неправда. Дело было только в том, что она страшно уязвила его своим уходом, и он сильно докучал с супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Ирину музыку, которой в жене, сколько ее ни тряс, не бывало.

– Не баба, а крапивная лихорадка, – фыркнул Лева.

Реб Менаше вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской эмиграции, хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились.

Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански, изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными.

Мужественная Нинка предстала перед двумя бородами, схватила раввина за обе руки и, встряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски:

– Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить.

Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Лева, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подрясник:

– Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь.

Отец Виктор издали улыбнулся коллеге недружественной религии – его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику:

– Я тоже из числа приглашенных.

Реб Менаше и бровью не повел – не понял или не расслышал.

Валентина тем временем сунула в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул.

Реб Менаше привычно отводил глаза от голых рук и ног, мужских и женских, как делал это и у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы высыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. Двадцать лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его Геула, носившая теперь десятого ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин.

“Барух ата Адонаи...” – привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его евреем.

– Может быть, вы сначала закусите? – предложила Нина.

Лева произвел руками жест, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ.

Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век извивались яркие желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные, но Алик, пристально изучивший в свое время древнюю азбуку ковров, всё никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор.

– Алик, к тебе пришли. – Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь. Потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и реб Менаше еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству.

Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово.

“Оба были наги и не стыдились”. Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее они казались невинными... Или мы разучились читать Книгу... Или Книга написана для других людей, способных ее иначе читать?

Нина приподняла колени Алика и соединила их, но ноги неловко завалились.

– Оставь, оставь, – всё еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.

Нина подсунула подушки под его колени.

– Спасибо, Ниночка, спасибо, – отозвался он и открыл глаза.

Высокий худой человек в черном, склонив голову набок, так что поле черной блестящей шляпы едва не касалось левого плеча, стоял перед ним с выжидательным видом.

– Do you speak English, don't you?

– I do, – улыбнулся Алик и подмигнул Нине.

Она вышла, следом за ней вышел и Лева.

Раввин сел на скамеечку, еще хранящую тепло священнических ягодиц, поместил с некоторым колебанием свою пыльную шляпу на край Аликовой постели. Он сложился пополам, борода его лежала на острых коленях. Огромные ступни в потертых туфлях на резиночках, без шнурков, стояли носок к носку, пятками врозь. Он был серьезен и сосредоточен, пружинистый купол черных с проседью волос покрывала на макушке маленькая черная кипа, пришипленная “невидимкой”.

– Дело в том, раббай, что я умираю, – сказал Алик.

Раввин покашлял и пошевелил длинными сцепленными пальцами. У него не было специального интереса к смерти.

– Понимаете, моя жена христианка и хочет, чтобы я крестился. Принял христианство, – пояснил Алик и замолчал. Говорить ему было всё труднее. И вообще он уже не был рад всей этой затее.

Раввин тоже молчал, поглаживая собственные пальцы, а после паузы спросил:

– И как эта глупость пришла вам в голову? – Он не вполне уместно употребил английское выражение, обозначающее глупость иного рода, но уточнил свою мысль, добавив: – Абсурд.

– Абсурд для эллинов. А разве для иудеев не соблазн? – Изящество и быстрота реакции не покидали Алика, несмотря на тупое одеревенение, которое он уже почти перестал ощущать телом, но чувствовал в последние дни лицом.

– А почему вы думаете, что раввин должен знать тексты вашего апостола? – блеснул светлыми и радостными глазами Менаше.

– А разве может быть что-нибудь такое, чего не знает раввин? – отбил Алик.

И они задавали друг другу вопросы, не получая ответов, как в еврейском анекдоте, но понимали друг друга гораздо лучше, чем, в сущности, должны были бы. У них не было ничего общего ни в воспитании, ни в жизненном опыте. Они ели разную пищу, говорили на разных языках, читали разные книги. Оба они были образованными людьми, но сферы их общих знаний почти не пересекались. Алик ничего не знал ни о каламе – мусульманском спекулятивном богословии, которым скрупулезно занимался реб Менаше уже двадцать лет, ни о Саадии Гаоне, труды которого без усталости комментировал реб Менаше все эти годы, а реб Менаше слыхом не слыхивал ни о Малевиче, ни о де Кирико...

– А что, кроме раввина уже не с кем и посоветоваться? – с горделивой и юмористической скромностью спросил реб Менаше.

– А почему еврей перед смертью не может посоветоваться именно с раввином?

В этом шутовском разговоре всё было глубже поверхности, и оба понимали это и, задавая дурацкие вопросы, подбирались к тому важному, что происходит в общении между людьми, – к прикосновению, оставляющему нестираемый след.

– Жалко жену. Плачет. Что мне делать, раббай? – вздохнул Алик.

Раввин убрал улыбку, пришла его минута.

– Айлик! – Он потер переносицу, пошевелил огромными туфлями. – Айлик! Я почти безвыездно живу в Израиле. Я первый раз приехал в Америку. Я здесь три месяца. Я потрясен. Я занимаюсь философией. Еврейской философией, и это совсем особое дело. У еврея всегда в основе лежит Тора. Если он не изучает Тору, он не еврей. У нас в древности было такое понятие – “плененные дети”. Если еврейские дети попали в плен и были лишены Торы, еврейского образа жизни, воспитания и образования, то они не виноваты в этом несчастье.

Они даже могут этого не осознавать. Но еврейский мир обязан брать на себя заботу об этих сиротах, даже если они в преклонных годах.

Здесь, в Америке, я увидел целый мир, который весь состоит из “пленных детей”. Целые миллионы евреев в плену у язычников. История евреев не знала таких времен никогда. Всегда были отступники и насильно крещенные, и “пленные дети” были не только во времена Вавилона. Но сейчас, в двадцатом веке, “пленных детей” стало больше, чем настоящих евреев. Это процесс. А если это процесс, то в нем есть воля Всевышнего... И об этом я думаю всё это время. И буду еще долго думать.

А вы говорите – крещение! То есть из категории “пленных детей” перейти в категорию отступников? С другой стороны, вас и отступником назвать нельзя, потому что, строго говоря, вы и не являетесь евреем. И второе хуже первого, вот что бы я сказал... Но скажу еще, опять с другой стороны: в сущности, у меня никогда не было выбора...

“Как интересно, и у этого тоже не было выбора... Отчего же у меня было выборов – хоть жопой ешь”, – подумал Алик.

– Я родился евреем, – Менаше тряхнул своими пышными пейсами, – я был им от самого начала и буду до конца. Мне нетрудно. У вас есть выбор. Вы можете быть никем, что в моем понимании значит быть язычником, а могли бы стать евреем, к чему у вас есть большое основание – кровь. А можете стать христианином, то есть, по моему разумению, подобрать кусок, упавший с еврейского стола. И даже не буду говорить, хорош этот кусок или плох, скажу только, что приправа, которую история приложила к этому куску, была очень сомнительной... Но уж если говорить вполне откровенно – не есть ли христианская идея жертвоприношения Христа, понимаемого как ипостась Всевышнего, самой большой победой язычников?

Он пожевал красную губу, еще раз внимательно посмотрел на Алика и закончил:

– По моему мнению, пусть вы лучше останетесь “пленным”... Уверяю вас, есть вещи, которые решают мужа, а не жены. Ничего другого не могу вам сказать...

Реб Менаше встал с неудобной скамеечки и вдруг почувствовал головокружение. Он склонился над Аликом со всей высоты своего роста и стал прощаться:

– Вы устали, я вижу. Вы отдыхайте...

И он забормотал какие-то слова, которых Алик уже не разобрал. Они были на другом языке.

– Реб Менаше, подождите, я бы хотел с вами выпить на прощанье, – остановил его Алик.

Либин и Руди вынесли Алика в мастерскую и усадили, вернее сказать, поместили его в кресло.

“Расслабленный, – подумал отец Виктор. – Как близко чудо. Завопить. Разобрать кровлю. Господи, почему у нас не получается?”

Особенно печально было оттого, что он знал, почему...

Лева хотел немедленно увести раввина. Но подошла Нинка, предложила стакан.

Лева решительно отказался, но раввин что-то сказал ему, и Лева спросил у Нины:

– А есть у вас водка и бумажные стаканчики?

– Есть, – удивилась Нина.

– Налейте в бумажные, – попросил он.

С улицы несло музыкой, как несет помойкой. К тому же была жара. Эта не спадающая и ночью нью-йоркская жара усиливала к вечеру возбуждение, и многие мучились бессонницей в эту погоду, особенно новые люди, несущие в своих телах привычку к другому температурному режиму. К раввину это тоже относилось: хотя он и привык к жаре и отлично ее переносил, но в Израиле, по крайней мере там, где он жил последние годы, дневная жара

сменялась ночной прохладой и люди успевали за ночь отдохнуть от дневного солнечного гнета.

Нинка принесла два бумажных стаканчика и передала их бородачам.

– Сейчас я отвезу вас в университет, – сказал Лева раввину.

– Я не тороплюсь, – ответил он, вспомнив о душной комнатке в общежитии и о многочасовом ожидании зыбкого сна.

Алик был распластан в кресле, а вокруг него орала, смеялись и выпивали его друзья, все как будто сами по себе, но все были обращены к нему, и он это чувствовал. Он наслаждался обыденностью жизни, и, ловец, гоняющийся всю жизнь за миражами формы и цвета, он знал сейчас, что не было у него в жизни ничего лучше этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым отношением в этой самой мастерской, где и стола-то настоящего не было – клали ободранную столешницу на козлы...

Лева с раввином сидели в шатких креслах. В те годы, когда Алик здесь обживался, помойки в округе были отменными: кресла, стулья, диванчик – всё было оттуда. Напротив Левы и Менаше висела большая Аликова картина. Это была горница Тайной Вечери, с тройным окном и столом, покрытым белой скатертью. Никого не было вокруг стола, зато на столе – двенадцать крупных гранатов, подробно написанных, шершавых, с тонкими переливами лилового, багрового, розового, с гипертрофированными зубчатыми коронами, живыми вмятинами, отражающими их внутреннее перегородчатое устройство, полное зерен. В тройном окне лежала Святая Земля. Такая, какой она была сегодня, а не в воображении Леонардо да Винчи.

Не любитель и не знаток живописи, раввин уставился на картину. Сначала он увидел гранатовые яблоки. Это был давний спор, какой именно плод соблазнил Хаву. Яблоко, гранат или персик. Помещение, изображенное на картине, он тоже знал. Эта так называемая Горница была расположена как раз над гробом Давидовым, в Старом Городе.

“Все-таки в нем говорит чисто еврейское целомудрие, – решил он, глядя на картину. – Людей он заменил гранатами. Вот в чем фокус. Бедняга...” – с грустью подумал он.

Он был настоящий израильтянин, родился на второй день после провозглашения государства. Дед был сионист, организатор одной из первых сельскохозяйственных колоний, отец жил Хаганой, и сам он успел и повоювать, и землю покопать. Родился он под стенами Старого Города, у мельницы Монтефиори, и первый вид из окна, который он помнит, был вид на Сионские Ворота.

Ему было двадцать лет, когда он впервые, вслед за танками, вошел внутрь этих стен. Еще пахло огнем и железом. Он облазил весь Старый Город, исследовал всю путаницу арабских улиц, все крыши христианского и армянского кварталов. Христианские святыни Иерусалима казались ему сомнительными, как и большая часть иудейских. Горница Тайной Вечери вызывала особое недоверие: не могла быть назначена эта тайная пасхальная встреча над костями Великого Царя. Впрочем, гробница Давида тоже не вызывала доверия... Весь этот изумительный мир из слабого белого камня, зыбкого света и горячего воздуха, который он так любил, был полон исторических и археологических несуразностей, в отличие от мира книжной премудрости, организованного с кристаллической точностью, без зазоров и приблизительностей, с разумным восхождением снизу вверх и парадоксальными, большой красоты логическими петлями...

Что значит для него эта земля, он понял впервые, покинув Израиль. Менаше был тогда молод, окончил университет, и его направили в Германию изучать философию. После года пристальных и вполне успешных занятий он полностью утратил интерес к европейской философии, оторванной от той жизненной основы, которую он признавал исключительно

за Торой. Так окончился недолгий срок его академического образования, и на половине третьего десятилетия своей жизни он встал на традиционный путь иудейской науки, которая и была, собственно говоря, богословием.

Тогда же он и женился на молчаливой девушке, обрившей могучие рыжие кудри накануне свадьбы. С тех пор он наслаждался гармонией, рождавшейся из сочетания выверенного до часовой точности во всех деталях быта и огромной интеллектуальной нагрузки учителя и ученика одновременно.

Мир его совершенно изменился: информация, получаемая большинством людей через радио, телевидение, светскую печать, полностью ушла от него, а взамен этого он получил пищу “Шулхан Арух” – стола, накрытого для желающих получить еврейское духовное наследие, да детский многоголосый писк.

Через пять лет вышла его первая книга, исследовавшая стилистические различия между комментариями Саадии к Даниилу и к Хроникам, а еще через два года он переселился в Цфат.

Мир его был библейски прост и талмудически сложен, но все грани совпадали, а ежедневная работа со средневековыми текстами придавала текущему времени оттенок вечного. Внизу, под горой, синел Киннерет, и именно здесь он обрел глубокое чувство благодарности Всевышнему – христианин, несомненно, назвал бы его фарисейским – за выпавшую ему счастливую долю служения и познания, за святость его земли, которая многим представляется всего лишь грязным и провинциальным восточным государством, а для него была несомненным средоточием мира, по отношению к которой все прочие государства с их историями и культурами читались только как комментарий...

Через толпу гостей к нему пробирался снявший подрясник священник.

– Мне сказали, что вы приехали сюда из Израиля с курсом лекций по иудаике? – спросил он на школьном английском языке.

Менаше встал. Он никогда еще не общался со священниками.

– Да, я преподаю сейчас в еврейском университете. Курс лекций по иудео-исламской культуре.

– Там бывают замечательные лекции. Я как-то читал книгу, курс лекций по библейской археологии, изданную этим университетом, – радостно заулыбался священник. – А ваша иудео-исламская тема в контексте современного мира читается, вероятно, очень хитрым перевертышем?

– Перевертышем? – не сразу понял реб Менаше. – Нет-нет, меня не интересуют политические параллели, я занимаюсь философией, – заволновался раввин.

Алик подозвал к себе Валентину:

– Валентина, ты присмотри за ними, чтоб трезвыми не остались.

Валентина, розовая и толстая, принесла, прижимая к груди, три бумажных стаканчика и поставила их перед Левой.

Выпили дружно, на троих, и через минуту их головы сблизились, они кивали бородами, качали головами и жестикулировали, а Алик, страшно довольный, указывая на них глазами, сказал Либину:

– По-моему, я сегодня очень удачно выступил в роли Саладина...

Валентина поискала глазами Либина и кивнула в сторону кухни. Через минуту она теснила его в угол:

– Я не могу ее просить, спроси ты...

– Ну да, ты не можешь, а я могу... – обиделся Либин.

– Ладно тебе. Надо срочно хотя бы за один месяц заплатить...

– Так недавно же собирали...

– Ну да, недавно, месяц назад, – пожалала плечами Валентина, – мне что, больше всех нужно? Телефон я в прошлом месяце оплатила, одни междугородние, Нинка много разговаривает, как напьется...

– Она же недавно давала... – заметил Либин.

– Ну хорошо, спроси у кого-нибудь еще. Может, у Файки?

Либин засмеялся: Файка была в долгах как в шелках, и не было здесь ни одного человека, которому она не была должна хоть десятку. Либину ничего не оставалось, как идти к Ирине.

С деньгами было не то что плохо – катастрофа. Алик в последние годы перед болезнью плохо продавался, а теперь, когда он и работать перестал, и бегать по галерейщикам не мог, доход был просто нулевой, а вернее сказать, ниже нуля. Долги росли. И те, которые необходимо было отдавать, вроде счетов за квартиру и телефон, и те, медицинские, которые не будут отданы никогда.

Была еще одна неприятнейшая история, которая тянулась уже несколько лет: два галерейщика из Вашингтона, делавшие Алику выставку, не отдавали двенадцать живописных работ. Алик был отчасти сам в этом виноват. Если бы он приехал в день закрытия выставки, как было уговорено, и сам всё забрал, этого не случилось бы. Но поскольку он, празднуя заранее продажу трех работ с этой выставки – о чем ему сообщили галерейщики, – одолжил денег и поехал с Нинкой на Ямайку, то и не попал к закрытию. Когда вернулся, тоже не сразу собрался. Однако чек за проданные работы почему-то не пришел, и он позвонил в Вашингтон узнать, в чем дело. Ему сказали, что работы вернулись и вообще – где он пропадает, им пришлось сдать его работы на хранение, так как в галерее нет места. Это было чистое вранье.

Алик попросил Ирину помочь. Выяснилось еще одно обстоятельство: Алик, подписывая контракт, оставил у галерейщиков копию, и теперь они, пользуясь его оплошностью, вели себя очень нахально, и Ирина почти ничего в этой ситуации не могла сделать. Единственный ее козырь – каталог галереи с объявлением о выставке и репродукция в нем одной из картин. Как раз той, которую они объявляли проданной. Ирина завела против них дело, а пока эта история тянулась, крикнув, выложила Алику чек на пять тысяч своих денег. Сказала, что выбила. Она и впрямь не оставляла надежды получить эти деньги.

Было это в начале прошлой зимы. Когда она принесла чек, Алик страшно обрадовался:

– Нет слов. Просто нет слов. Сейчас уплатим ренту и купим наконец Нинке шубу.

Ирина взвилась – не на шубу она давала свои кровные. Но делать было нечего, половина денег ушла на шубу: такие уж были привычки у Алика с Нинкой. Дешевки они не любили.

“Чертова богема, – негодовала Ирина, – видно, они здесь говна мало похлебали...”

Выдохнув из себя горячий воздух, решила, что помогать будет, но небольшими суммами, по мере минутной необходимости. В конце концов, она одинокая баба с ребенком. И не такая уж богатая, как они думают. Не говоря о том, как трудно эти денежки выгрызть...

Когда Либин к ней подошел, она уже доставала чековую книжку. Маленькие суммы росли, как маленькие детки, – совершенно незаметно...

9

Бородатые мужи вышли на улицу. Готлиб совсем не ощущал себя пьяным, но начисто забыл, где поставил машину. Там, где он ожидал ее увидеть, стоял чужой длиннозадый “понтак”.

– Утащили, утащили! – по-детски, совершенно беззлобно засмеялся отец Виктор.

– Да здесь можно ставить, почему это утащили? – рассердился Готлиб. – Вы постойте здесь, я за углом посмотрю.

Раввин не проявлял никакого интереса к тому, на какой машине его отвезут, – ему гораздо интереснее было то, что говорил этот смешной человек в кепочке.

– Так вот, я, с вашего позволения, продолжу, – торопился отец Виктор поделиться своими мыслями с исключительным собеседником. – Первый эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Диаспора оказалась исключительно полезна для всего мира. Конечно, вы собрали свой остаток у себя там. Но сколько евреев растворилось, ассимилировалось, сколько их в науке и в культуре во всех странах. Я ведь в некотором смысле юдофил. Впрочем, каждый нормальный христианин почитает избранный народ. И понимаете, это чрезвычайно важно, что евреи вливают свою драгоценную кровь во все культуры, во все народы, и по этому образцу происходит что? Мировой процесс! И русские вышли из своего гетто, и китайцы. Обратите внимание: эти молодые американские китайцы – среди них лучшие математики и музыканты великолепные... Идем дальше – смешанные браки! Вы понимаете, что я имею в виду? Идет созидание нового народа!

Раввин, кажется, прекрасно понимал, что имеет в виду оппонент, но совершенно не одобрял его идей и мелко жевал губами.

“Три стаканчика или четыре стаканчика”, – пытался он припомнить. Но сколько бы ни было, явно много...

– Вот они, новые времена: ни иудея, ни эллина, и в самом прямом, в самом прямом смысле тоже... – радовался священник.

Раввин остановился, пригрозил ему пальцем:

– Вот-вот, для вас самое главное – чтоб ни иудея...

Подъехал Готлиб, открыл дверцу, усадил своего раввина и в высшей степени невежливо оставил на улице одинокого отца Виктора в сильном огорчении:

– Ишь как выкрутил, да я же совсем этого в виду не имел...

10

Гости не то чтобы разошлись, а скорее рассосались. Кто-то остался ночевать на коврике. Тут же, на коврике, спала и Нинка. Эта ночь была Валентинина. Алик сразу после ухода гостей уснул, и Валентина притулилась у него в ногах. Она могла бы и поспать, но сон, как назло, не шел. Она давно уже заметила, что алкоголь стал действовать в последнее время странным образом: вышибал сон.

Валентина прилетела в Америку в ноябре восемьдесят первого. Ей было двадцать восемь лет, росту в ней было 165, весу 85 килограммов. Тогда она еще на фунты не мерилась. На ней была черная гуцульская куртка ручного тканья, с шерстяной вышивкой. В матерчатом клетчатом чемодане лежала незащищенная диссертация, которая никогда ей не пригодилась, полный комплект праздничной одежды вологодской крестьянки конца девятнадцатого века и три антоновских яблока, запрещенных к ввозу. Их мощный запах пробивал хилый чемодан. Яблоки предназначались имеющемуся у нее мужу-американцу, который ее почему-то не встретил.

Неделю назад, взяв билет в Нью-Йорк, она позвонила ему и сообщила, что приезжает. Он как будто обрадовался и обещал встретить. Брак их был фиктивным, но друзья они были настоящие. Микки прожил в России год, собирая материалы по советскому кино тридцатых годов и неврастенически переживая тяжелый роман с маленьким чудовищем, которое его унижало, обирало и подвергало мукам ревности.

С Валентиной он познакомился на модной филологической школе. Она приютила его у себя, отпоила валерьянкой, накормила пельменями и в конце концов приняла сокрушитель-

ную исповедь гомосексуалиста, подавленного необоримостью собственной природы. Высокорослый и чахлый Микки плакал и изливал на Валентину свое горе, одновременно делая психоаналитический самокомментарий. Валентина долго и сочувственно дивилась прихотливости природы и, найдя небольшую паузу в двухчасовом монологе, задала прямой вопрос:

– А что, с женщинами ты никогда?..

Оказалось, что и здесь было непросто, какая-то семнадцатилетняя кузина, гостившая полтора месяца у них дома, затерзала его, тогда четырнадцатилетнего, своими ласками и уехала обратно в свой Коннектикут, оставив его в состоянии изнурительной девственности и несмываемой греховности.

История выглядела слишком уж литературной, и к концу этого пространного и эмоционального рассказа, изобилующего крупноплановыми деталями, усталая Валентина уложила обе его тонкие ладони на плотные финики своих незаурядных сосков и без особого труда совершила над ним насилие, приведшее его, впрочем, к полному удовлетворению.

Это событие так и осталось единичным в Миккиной биографии, но отношения их с того времени приобрели оттенок необыкновенной дружеской близости.

Валентина переживала в ту пору свой собственный крах: ошеломляюще подлую измену любимого человека. Он был известным диссидентом, успел даже посидеть, ходил в героях и слыл безукоризненно честным и мужественным. Но, видимо, шов у него проходил как раз между верхней и нижней половиной: верх был высококачественный, а низ сильно подпорченный. До баб он был жаден, неразборчив и умел всеми ими хорошо попользоваться. Отъезд его был оплакан многими красотками-подругами самой антисоветской ориентации, и парочка-тройка внебрачных детей обречена была держаться всю жизнь красивой легенды об отце-молодце.

В результате он уехал из России героем, женившись на красавице итальянке, к тому же и богатой, а Валентина осталась с гэбэшным хвостом и незащищенной диссертацией.

Вот тут-то великодушный Микки и предложил ей фиктивный брак, который они и заключили. Они поженились и, чтобы соблюсти некоторый декорум, устроили даже свадьбу в Калуге, у Валентиной мамы, которая со дня свадьбы примирилась с дочерью, хотя жених ей и не понравился, назвала его “глистопером”. Однако обаяние американского паспорта подействовало даже на нее. В типографии, где она всю жизнь проработала уборщицей, никто еще своих дочерей в Америку не выдавал.

Прождав мужа два часа в аэропорту Кеннеди, Валентина позвонила ему домой, но никто не ответил. Тогда она решила ехать по тому адресу, который он дал ей еще в России. Адрес, предъявленный ею нескольким доброжелательным американцам, оказался не нью-йоркским, а пригородным. Английский язык Валентина знала через пень-колоду, она была слависткой. С горем пополам разобравшись, она поехала по указанному адресу.

Чувство полной нереальности происходящего освобождало ее от обычных человеческих тревог. Будущее, каким бы оно ни было, всё равно казалось ей лучше прошлого – позади всё было слишком уж погано. С этими легкими мыслями она села в автобус. Денег с нее почему-то не взяли, а она не сразу поняла, что в этой ситуации обозначает слово “free”. А когда поняла, что проезд бесплатный, обрадовалась. При ней было пятьдесят долларов, и она понимала, что этого в любом случае должно хватить, чтобы добраться до безответственного мужа.

На закате дня, после многих маленьких приключений и огромных дорожных впечатлений, она вышла в Территаун, вдохнула вечерний воздух и села на желтую лавочку на перроне. Она не спала более полутора суток, всё вокруг как будто слегка двигалось, и голова кружилась от полной неопределенности и невесомости.

Посидев минут десять, она подхватила свой чемоданишко и вышла на небольшую площадь, всю заставленную машинами. Она спросила у молодого человека, который возился

с замком автомобиля, как найти нужную ей улицу, и он, ничего не говоря, распахнул вторую дверку и довез ее до красивого двухэтажного дома, расположенного на горке, в кайме выхлещенных кустов. Начинало смеркаться. Она остановилась перед легкими воротцами из несерьезных белых планок.

Рейчел, мать Микки, с утра была озабочена чудесным сном, приснившимся ей под утро: как будто она нашла в белой беседке, которой на самом деле не было в их саду, милую пухленькую девочку и эта девочка с ней говорила о чем-то важном и очень приятном, хотя она была совсем крошка и в жизни такие маленькие дети еще не разговаривают. Но что именно она говорила, Рейчел не могла вспомнить.

Днем, когда она прилегла отдохнуть, она пыталась вызвать в памяти эту сквозную беседку, эту пухлую девочку, чтобы та снова ей приснилась и сказала бы то важное, чего недоговорила в предутреннее время. Но девочка больше не появилась, да и вообще ждать было нечего, днем Рейчел сны не снились.

Теперь она шла к воротцам, немного вперевалку, простолицая еврейка с круглыми, в кольцах давней бессонницы глазами, и рассматривала стоящую за воротами женщину с чемоданчиком.

– Добрый день! Могу ли я видеть Микки? – спросила женщина.

– Микки? – удивилась Рейчел. – Он здесь не живет. Он живет в Нью-Йорке. Но вчера он уехал в Калифорнию...

Валентина поставила чемодан на землю:

– Как странно. Он обещал меня встретить, но не встретил.

– А! Это Микки! – махнула рукой Рейчел. – Откуда вы?

– Из Москвы.

Валентина стояла на фоне белых ворот, и Рейчел вдруг догадалась, что эта белая беседка во сне была не беседка, а эти самые ворота, и пухленькая девочка – эта самая женщина, тоже пухленькая...

– Бог мой! А мои родители из Варшавы! – радостно воскликнула она, как будто Варшава и Москва были соседними улицами. – Заходите, заходите!

Через несколько минут Валентина сидела за низким столиком в гостиной, глядя в окно на убегающий вниз сад, все деревья которого повернулись к ней лицом и смотрели из сгущающейся темноты в ярко освещенное окно.

На столе стояли две тонкие матовые чашки, такие легкие, как будто они были сделаны из бумаги, и грубый терракотовый чайник. Печенье напоминало водоросли, а орехи были трехгранными, с тонкой скорлупой и розоватого цвета. Сама Рейчел, сложив руки на животе совершенно тем же деревенским жестом, как делала это мать Валентины, с доброжелательным интересом смотрела на Валентину, склонив набок голову в шелковой зеленой чалме. Оказалось, что русская знает польский, и они заговорили по-польски, что доставляло Рейчел особое удовольствие.

– Вы приехали в гости или на работу? – задала Рейчел важнейший вопрос.

– Я приехала навсегда. Микки обещал меня встретить и помочь с работой, – вздохнула она.

– Вы познакомились с ним, когда он работал в Москве? – перекинув головку на другое плечо – такая у нее была смешная манера: склонять голову к плечу, – спросила Рейчел.

Валентина задумалась на мгновение, она так устала, что вести светскую беседу по-польски, да еще чуть привирая там и здесь, у нее не было сил:

– Честно говоря, мы с Микки поженились...

Кровь бросилась Рейчел в лицо. Она выскочила из гостиной, и по всему дому разлетелся ее звонкий голос:

– Дэвид! Дэвид! Иди сюда скорее!

Дэвид, ее муж, такой же высокий и хрупкий, как Микки, в красной домашней куртке и в ермолке, стоял на верху лестницы. В руках он держал толстенную авторучку.

В чем дело? – говорил он всем своим видом, но молча.

Они были прекрасной парой, родители Микки. Каждый из них нашел в другом то, чего не имел в себе, и восхищался найденным. Подойдя к шестидесяти и поднявшись к возможным границам супружеской и человеческой близости, готовясь к длинной счастливой старости, оба они несколько лет тому назад с пронзительным ужасом обнаружили, что их единственный сын отказался от законов своего пола и уклонился в такую языческую мерзость, которую Рейчел не могла даже назвать словом.

– Мы были счастливы, слишком счастливы, – бормотала она бессонными ночами в своей огромной торжественной постели, в которой они с тех пор, как совершили свое ужасное открытие, ни разу больше не прикоснулись друг к другу. – Господи, верни его к обычным людям!

И она, еврейская девочка, спасенная от огня и газа монахинями, почти три года оккупации укрывавшими ее в монастыре, шла на самое крайнее, обращаясь к Матери того Бога, в которого она не должна была верить, но верила:

– Матка Боска, сделай это, верни его...

Популярная просветительская литература, доходчиво объясняющая, что с сыном ее ничего особенного не происходит, всё в порядке и гуманное общество оставляет за ним полное и священное право распоряжаться своими причиндалами как ему заблагорассудится, не утешала ее старомодной души.

Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое, счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась.

Радость – увы! фиктивная – сидела в гостинной и таращила сами собой закрывающиеся глаза... Так начиналась Валентинина Америка...

Алик зашевелился, Валентина легко вскочила:

– Что, Алик?

– Пить.

Валентина поднесла к его рту чашку, он пригубил, закашлялся.

Валентина теребила его, постукивала по спине. Приподняла – ну совершенно как та кукла, которую сделала Анька Крон:

– Сейчас, сейчас, трубочку возьмем...

Он снова набрал в рот воды и снова закашлялся. Такое бывало и раньше. Валентина снова его потрясла, постучала по спине. Снова дала трубочку. Он опять начал кашлять, и кашлял на этот раз долго, всё никак не мог раздышаться. Тогда Валентина смочила водой кусочек салфетки и положила ему в рот. Губы были сухие, в мелкую трещинку.

– Я помажу тебе губы? – спросила она.

– Ни в коем случае. Я ненавижу жир на губах. Дай палец.

Она положила палец ему между сухих губ – он тронул палец языком, провел по нему. Это было единственное прикосновение, которое у него еще оставалось. Похоже, это была последняя ночь их любви. Оба они об этом подумали. Он сказал очень тихо:

– Умру прелюбодеем...

Валентина жила тогда трудно, как никогда. С работы она обычно ехала прямо на курсы. Но в тот день пришлось заехать домой, так как позвонила хозяйка и попросила срочно завезти ключи: что-то случилось с замком, но Валентина не поняла, что именно. Она отдала ключ хозяйке, но и этим ключом входная дверь не открывалась. Оставив хозяйку наедине

со сломанным замком, Валентина, прежде чем ехать на курсы, зашла в еврейскую закусную за углом – к Капу. Цены здесь были умеренными, а сэндвичи, с копченой говядиной и индюшатиной, превосходными. Дюжие продавцы, которым бы ворочать бетонными чушками, артистически слоили огромными ножами пахучее мясо и переговаривались на местном наречии. Народу было довольно много, у прилавка стояло несколько человек. Тот, что стоял перед Валентиной, к ней спиной, с рыжим хвостом, подхваченным резиночкой, по-приятельски обратился к продавцу:

– Послушай, Миша, я хожу сюда десять лет. И ты, Арон, тоже. Вы стали за это время в два раза толще, а сэндвичи стали вдвое худей. Почему так, а?

Мельтеша голыми руками, продавец подмигнул Валентине:

– Он мне делает намек, ты понимаешь, да?

Человек обернулся к Валентине – лицо его было смеющимся, в веснушках, весело топорщились рыжие усы:

– Он считает, что это намек. А это не намек, а загадка жизни.

Продавец Миша нацепил на вилку один огурчик, потом второй и уложил их рядом с пышным сэндвичем на картонной тарелке:

– На тебе экстраогурчик, Алик. – И обратился к Валентине: – Он говорит, что он художник, но я-то знаю, что он из ОБХСС. Они меня и здесь достают. Пастрами?

Валентина кивнула, нож замельтешил в руках Миши. Рыжий сел за ближайший стол, там как раз освободилось еще одно место, и, взяв из рук Валентины тарелку и поставив на свой столик, отодвинул ногой стул.

Валентина молча села.

– Из Москвы?

Она кивнула.

– Давно?

– Полтора месяца.

– Ага, и вид еще не обстрелянный. – Взгляд его был прямым и доброжелательным. – А чего делаешь?

– Бебиситтер, курсы.

– Молодец! – похвалил он. – Быстро сориентировалась.

Валентина разложила сэндвич на две половинки.

– Ты что! Ты что! Кто ж так ест! Американцы тебя не поймут. Это святое: разевай рот пошире и смотри, чтоб кетчуп не капал. – Он ловко обкусил выпирающую начинку сэндвича. – Жизнь здесь простая, законов всего несколько, но их надо знать.

– Какие законы? – спросила Валентина, послушно сложив вместе две разобранные было половинки.

– Вот этот, считай, первый. А второй – улыбайся! – И он улыбнулся с набитым ртом.

– А третий какой?

– Как тебя зовут?

– Валентина.

– Мм, – промычал он, – Валечка...

– Валентина, – поправила она. “Валечку” она ненавидела с детства.

– Валентина, вообще-то мы с тобой не очень хорошо знакомы, но так и быть – открою.

Второй закон Ньютона здесь формулируется так: улыбайся, но жопу не подставляй...

Валентина засмеялась, кетчуп потек на ее шарф.

– А все-таки – третий.

Алик стер кетчуп:

– Сначала надо первые два выучить... Эти сэндвичи лучшие в Америке. Best in America... Это точно. Этой харчевне почти сто лет. Сюда приходили Эдгар По, О’Генри

и Джек Лондон, брали здесь сэндвичи по гривеннику. Писателей этих, между прочим, американцы совершенно не знают. Ну, может, Эдгара По в школе проходят. Если бы здешний хозяин читал хоть одного из них, он непременно повесил бы портрет. Это наша американская беда: с сэндвичами всё в порядке, а культуры не хватает. Хотя почти наверняка у первого Каца, я имею в виду не Адама, а здешнего хозяина, внук окончил Гарвард, а правнук учился в Сорбонне и, наверное, участвовал в студенческой революции шестьдесят восьмого...

Валентина постеснялась спросить, какую такую революцию он имеет в виду, но Алик, отложив сэндвич, продолжал:

– Огурцы бочковые. Больше таких нигде не найдешь. Они сами солят. Честно говоря, я люблю, чтоб были клеклые и посопливей. Но это тоже неплохо. По крайней мере без уксуса... Вообще этот город потрясающий. В нем есть всё. Он город городов. Вавилонская башня. Но стоит, и еще как стоит! – Он как будто не с ней говорил, а спорил с кем-то отсутствующим.

– Но он такой грязный и мрачный, и так много черных, – мягко сказала Валентина.

– Ты приехала из России, и Америка тебе грязная? Ничего себе! Да черные – черные лучшее украшение Нью-Йорка! Ты что, не любишь музыку? А что такое Америка без музыки? А это черная, черная музыка! – Он возмутился и обиделся: – И вообще, ты в этом пока ничего не понимаешь и лучше молчи.

Они закончили с едой и вышли из заведения.

У дверей Алик спросил ее:

– Ты куда?

– На Вашингтон-сквер. У меня там курсы.

– Английский берешь?

– Advanced, – кивнула она.

– Я тебя провожу. Я там живу недалеко. А если подняться к Астор-плаза, а потом свернуть туда, – он махнул рукой, – там есть такое гнездышко американских панков, чудо, все в черной коже, в диком металле. С английскими ничего общего не имеют. И музыка у них – нечто особенное. А ближе к площади – старый украинский район, не так уж интересно. О, там есть потрясающий ирландский паб, самый настоящий. Туда даже женщин не пускают... Хотя, кажется, уже пускают, но уборной женской нет, только писсуары... Не город, а большой уличный театр. Я уж сколько лет оторваться не могу...

Они шли по Бауэри. Он остановил ее около мрачного унылого дома, каких в этом районе большинство.

– Смотри. Это СВGB – самое главное музыкальное место в мире. Через сто лет музыковеды будут хранить куски известки от этих стен в золотых коробочках. Здесь идет рождение новой культуры – я серьезно говорю. И Knitting Factory – то же самое. Здесь играют гении. Каждый вечер – гении.

Из обшарпанной двери выскочил черный щуплый мальчик в розово-белом пальто. Алик поздоровался с ним.

– Я же говорил! Это Буби, флейтист. Каждый вечер играет с Господом Богом. Я только что купил билет на его концерт. Специально приезжал. Жена моя со мной не ходит, она эту музыку не любит. Хочешь, возьму тебя с собой?

– Я могу только в воскресенье, – ответила Валентина. – Все остальные дни я с восьми до одиннадцати.

– Круто забираешь, – усмехнулся Алик.

– Ну, так получилось. Я к девяти на работе, в шесть кончаю. В семь курсы – через день, а через день с хозяйской внучкой сижу. В одиннадцать освобождаюсь, в двенадцать сплю. А в три просыпаюсь – и всё. У меня такая американская бессонница, черт ее знает. В три часа я как неваляшка. Пробовала позже ложиться, но всё равно – в три сна нет.

– Да, концертов в такое время не бывает, но есть много мест, где жизнь идет до утра. Не всё ли равно, когда начинать, можно и в три...

К этому времени Нинка была уже настоящим алкоголиком, и нужно ей было немного – за день она выпивала, по русскому счету, полбутылки водки, разбавляя ее американским соком, и к часу ночи спала мертвецким сном. Алик переносил ее из кресла в спальню, засыпал с ней рядом на несколько часов. Он сам был из породы людей мало спящих, как Наполеон.

Роман Алика с Валентиной протекал с трех до восьми. Он начался не сразу, а довольно постепенно. Прошло не менее двух месяцев, прежде чем он впервые вошел в ее низкий подвал, бейсмент по-американски, который она нанимала с легкой руки Рейчел у ее приятельницы.

В неделю раза два Алик подходил в четвертом часу к Валентининому подвалу и, склонившись, свистел в слабо светящееся окно. Через десять минут Валентина выскакивала – бодрая, розовая, в черной гуцульской курточке, и они шли в одно из тех ночных мест, которые обычно неизвестны эмигрантам.

Однажды, в одну из самых холодных ночей января, когда снег выпал и держался чуть ли не целую неделю, они попали на Рыбный рынок. Буквально в двух шагах от Уолл-стрит закипала на несколько часов невероятная жизнь. К причалу подходили суда действительно со всего мира, и рыбаки втаскивали свой живой или, как в тот раз, подмерзший товар на тележках, на спинах, в корзинах. В стенах открывались вдруг широкие двери, и складские помещения принимали всю эту морскую роскошь.

Два рослых человека несли на плечах длинное бревно – это был серебристый, успевший покрыться тонкой пленкой льда тунец. Обычные, простые, как дворняги, рыбешки тоже попадались, но глаз на них не смотрел, потому что в огромном изобилии громоздились на прилавках невиданные морские чудовища, с ужасными буркалами, клешнями, присосками, состоящие, казалось, из одних пастей, и необозримое количество ракушек самого фантастического вида, внутри которых укрывался маленький кусочек жидкого мяса, и змеистые существа с такими милыми мордочками, что невольно на ум приходили русалки, и нечто промежуточное, про что невозможно было сказать, животное оно или растение, и самые настоящие водоросли, лианами и пластами. И вся эта тварь при белом свете фонарей переливалась синим, красным, зеленым и розовым, и некоторые еще шевелились, а другие уже заковенели.

В проходах стояло несколько железных бочек, в них что-то жгли, и время от времени замерзшие люди подходили туда погреться. И люди были так же диковинны, как и товар, который они привезли: норвежцы с русыми заиндевевшими бородами, усатые китайцы и островитяне с лицами экзотическими и древними.

А между ними толкались покупатели-оптовики со всего Нью-Йорка и из Нью-Джерси, привлеченные хорошими ценами, владельцы и повара лучших ресторанов – за самым свежим товаром.

– Слушай, это просто как в сказке! – восхищалась Валентина, а Алик радовался, что нашел человека, который так же от этого балдеет, как и он сам.

– А я тебе что говорил! – И потащил ее в забегаловку выпить виски, потому что в такой мороз нельзя было не выпить. Там, в забегаловке, с ним, конечно же, поздоровался хозяин. – Мой приятель. Вон, посмотри, – и он ткнул пальцем в стену, а там, посреди гравюр с изображениями яхт и кораблей, рядом с фотографиями незнакомых Валентине людей, висела небольшая картина, на которой были нарисованы две незначительные рыбки, одна красноватая, с колючим растопыренным плавником, а вторая серенькая, вроде селедочки. – За эту картинку Роберт обещался меня поить всю жизнь бесплатно.

И действительно, лысоватый краснорожий хозяин уже тащил им два виски. Народу здесь было множество: моряки, грузчики, торговый люд.

Место это было мужским, ни одной бабы видно не было, и мужики сосредоточенно выпивали, ели здешний рыбный суп, какую-то незначительную еду. Сюда приходили не поесть, а выпить и передохнуть. А в такую погоду, конечно, и погреться. Мороз все-таки был для здешних людей непривычным, да они и не понимали, как настоящие северяне понимают, что никакого тепла не будет, если надеть меховую куртку на тонкую рубашку, в резиновые сапоги затолкать две пары синтетических носков и на башку нацепить бейсбольную кепочку...

– Ну скорей, скорей, а то ты самого интересного не увидишь, – заторопил вдруг Валентину Алик.

Они вышли на улицу. За те полчаса, что они провели в забегаловке, всё изменилось – и менялось на глазах со скоростью мультипликационного фильма. Прилавки очищались и куда-то исчезали, двери складских помещений закрывались и превращались в сплошные стены, исчезли бочки с веселым огнем, и со стороны причала шла гвардия высоких ребят со шлангами, и они смывали весь рыбный сор, что оставался на земле, и через пятнадцать минут Алик с Валентиной стояли чуть ли не единственные на всем этом мысу, на самой южной точке Манхэттена, а весь ночной спектакль казался сном или миражем.

– Ну вот, а теперь пойдём и ещё раз выпьем, – повел её Алик в заведение, в котором тоже уже никого не было, и столы сверкали чистым блеском, и даже полы заканчивал протирать молодой парень, который тоже кивнул Алику, – хозяйский сын. – И это тоже ещё не всё. Сейчас увидишь последний акт. Минут через пятнадцать...

А через пятнадцать минут ближе метро вдруг выплонуло толпу элегантных мужчин и причесанных женщин, носивших на себе лучшую обувь, прекрасные деловые костюмы и духи этого сезона.

– Мать честная, они что, на прием? – изумилась Валентина.

– Это служащие с Уолл-стрит. Многие из них живут в Хобокене, тоже очень занятное место, я тебе покажу как-нибудь. Это народ не самый богатый, от шестидесяти до ста тысяч в год. Клерки. Белые воротнички. Самая рабская порода...

И они пошли к метро, потому что Валентине пора было ехать на работу. Она оглянулась – на месте Рыбного рынка остался только легкий запах рыбы – да и то надо было принюхиваться...

Кроме Рыбного рынка были ещё Мясной и Цветочный – там можно было заблудиться между кадками с деревьями. Этот Цветочный открывался по ночам, но днем тоже торговали.

А возле Мясного они однажды встретили рыжеватого человека со знакомым лицом. Алик перекинулся с ним парой слов, и они прошли дальше.

– Кто это?

– Не узнала? Бродский. Он живет неподалеку.

– Живой Бродский? – изумилась Валентина.

Он действительно был вполне живой.

А ещё был ночной танцевальный клуб, куда ходила совсем особая публика: пожилые богатые дамы, ветхие господа, нафталиновые любители танго, фокстрота, вальса-бостона...

А иногда они просто гуляли, а потом однажды случайно поцеловались, и тогда они уже почти перестали гулять. Алик свистел с улицы, Валентина отворяла...

Потом Валентина переехала в квартиру к Микки, потому что Микки переселился на несколько лет в Калифорнию, преподавал там в знаменитой киношколе и личная жизнь его протекала хорошо, хотя Рейчел не переставала горевать, что вместо Валентины, милой толстой Валентины с большими грудями, которыми можно было бы выкормить сколько

угодно детишек, у Микки в подружках маленький испанский профессор, большой специалист по Гарсиа Лорке.

Нью-йоркская квартира Микки была в Даунтауне, Алик приходил и туда, всё в то же заветное время между тремя и восемью.

Был период, когда Валентина отказала ему в ночных визитах. Она в ту пору как раз переехала в Квинс, потому что ее взяли на работу в тамошний колледж преподавателем русского языка. В Квинсе у нее был другой мужчина, из России, но никто его не видел, известно было, что работает он водителем грузовика.

Сколько длился водитель в ее жизни, трудно сказать, но, когда она получила, пройдя огромный конкурс, совсем настоящую американскую работу в одном из нью-йоркских университетов, водителя уже не было.

Снова был Алик, и Валентине стало ясно, что теперь уж это окончательно, что никто ни от кого никуда не денется: ни она от Алика, ни Алик от Нинки...

11

Московская инженерша, приведенная в дом, осталась ночевать на коврике и немедленно присохла к дому. Утром, в самое безлюдное время, когда народ, который работал, разбежался по своим конторам, а который сидел на пособии, еще глаз не разлепил, когда сама Нинка еще не стряхнула с себя своего апельсинового сна, эта невзрачная, с первого раза не запоминающаяся женщина перемыла вчерашние чашки и стаканы, а потом заглянула к Алику. Он уже проснулся.

– Я Люда из Москвы, – повторила она на всякий случай, потому что, хоть ее вчера с Аликом и познакомили, она давным-давно привыкла, что с первого раза ее никто не запоминает.

– Давно? – живо заинтересовался Алик.

– Шесть дней. А кажется, что давно. Умыться? – Она спросила так легко, как будто это и было ее главное занятие: поутру умыть больных. И тут же принесла мокрое полотенце, протерла лицо, шею, руки.

– Чего в Москве нового? – механически спросил Алик.

– Да всё то же... По радио трескотня, магазины пустые... Чего там нового... Позавтракать? – предложила Люда.

– Ну, давай попробуем.

С едой обстояло плохо. Последние две недели он ел одно детское питание, да и эту фруктовую ерунду с трудом глотал.

– Ну, я пюре картофельное сделаю. – И она уже была на кухне, тихонько там позвякивала.

Пюре она сделала жиденьким, и оно как-то хорошо проскочило. Вообще сегодня с утра Алик чувствовал себя получше: не так мутился свет и зрение было обыкновенным, без фокусов.

Люда перетряхивала Аликовы подушки и с грустью думала, что за судьба такая ей досталась – всех хоронить. В свои сорок пять она похоронила мать, отца, двух бабушек, деда, первого мужа и вот только что – близкую подругу. Всех кормила, умывала, а потом и обмывала. “Но этот вроде уж совсем не мой, а вот привело...”

У нее была куча дел, длиннейший список покупок, визитов к незнакомым людям, которые хотели ее порасспросить о своих московских родственниках и порассказать о своей жизни, но она уже чувствовала, что влипла, не может оторваться от этого нелепого дома, от человека, которого она вот-вот полюбит, и снова ей придется надрывать свое сердце на том же самом месте...

Зазвонил телефон, кто-то крикнул в трубку:

– Включите CNN! В Москве переворот!

– В Москве переворот, – упавшим голосом повторила Люда. – Вот тебе и новости.

В телевизоре замелькали обрывчатые куски хроники. Какое-то ГКЧП, не лица, а обмылки, косноязычные, с подлостью, заметной на лице, как плохие вставные зубы...

– Да откуда же такие рожи берутся? – удивился Алик.

– А здешние что, лучше? – с неожиданным патриотизмом воскликнула Люда.

– Все-таки лучше. – Алик подумал немного. – Конечно, лучше. Тоже воры, но застенчивые. А эти уж больно бесстыжие.

Понять, что там происходит на самом деле, было совершенно невозможно.

У Горбачева оказалось “состояние здоровья”.

– Наверное, они его уже убили...

Телефон звонил беспрерывно. Событие такого рода удержать в себе было невозможно.

Люда развернула телевизор, чтобы Алику было удобнее.

Билет у нее был на шестое сентября. Надо скорей менять и возвращаться... А с другой стороны, чего возвращаться, когда сын здесь... Муж пусть лучше сюда выбирается... А здесь чего делать, без языка, без ничего... Дома книги, друзья, милых шесть соток... Всё неслось одной смутной тучей...

– Я же говорил: до подписания договора должно что-то произойти, – удовлетворенно сказал Алик.

– Какого еще договора?.. – удивилась Люда. Она не следила за политическими новостями, ей давно всё это опротивело...

– Люд, разбуди Нинку, – попросил Алик.

Но Нинка уже и сама приползла.

– Попомните мое слово: вот теперь всё и решится... – пророчествовал Алик.

– Что решится? – Нинка была рассеянна и еще не вовсе проснулась. Все события за пределами этой квартиры были от нее одинаково далеко.

К вечеру опять набилось множество народу. Телевизор вынесли из спальни и поставили на стол, народ отхлынул от Алика и сгрудился у телевизора. Происходило что-то совершенно непонятное: какой-то марионеточный дергунчик, завхоз из бани, усач с собачьей мордой, полубесы-полулюди, фантазмагория сна из “Евгения Онегина”. И – танки. В город входили войска. По улицам медленно ползли огромные танки, и было непонятно, кто против кого воюет.

Люда, зажав виски, стонала:

– Что теперь будет? Что будет?

Сын ее, молоденький программист, сорвался пораньше с работы, сидел с ней рядом и немного ее стеснялся:

– Что будет? Военная диктатура будет.

Пытались прозвониться в Москву, но линия была занята. Вероятно, в эти минуты десятки тысяч человек набирали московские номера.

– Смотрите, смотрите, танки мимо нашего дома идут!

Танки шли по Садовому кольцу.

– Да чего ты так убиваешься, сын твой здесь, останешься, и всё, – пыталась успокоить Люду Файка.

– А отец, наверное, давно на пенсии, – невпопад сказала Нина.

Один только Алик знал, что сказала она впопад: отец у Нины был пламенный гэбэшник в большом чине, отказался от нее, когда она уехала, и даже матери запретил переписку...

– О, сучья власть, пропади она пропадом. И вся водка кончилась... – Либин вскочил и пошел к лифту.

Джойка, которая довольно хорошо читала по-русски, но понимала русскую речь значительно хуже, в эти часы своими ушами прозрела: каждое слово, сказанное диктором, понимала с лёту. Она принадлежала к странной породе людей, влюбившихся в чужую землю, ни разу ее не видевши, по одним только старомодным книжкам, да к тому же в плохих переводах. Но она хоть понимала по какому-то неожиданному вдохновению дикторский текст, а Руди только пялил глаза, ерзал и время от времени тянул Джойку за локоть и требовал перевода.

Происходящее в Москве было до такой степени непонятным, что перевод, похоже, требовался всем.

Про Алика на некоторое время забыли, и он закрыл глаза. То, что происходило на экране, он воспринимал сейчас как мелькание пятен. К вечеру устал, но сознание осталось ясным.

Тишорт села к нему на ручку кресла, погладила плечо.

– Там теперь будет война? – спросила тихо.

– Война? Не думаю... Несчастливая страна...

Тишорт недовольно наморщила лоб:

– Ну, это я уже слышала. Бедная, богатая, развитая, отсталая – это я понимаю. А как это – несчастная страна? Не понимаю.

– Тишорт, а ты умница. – Алик посмотрел на нее с удивлением и с удовольствием.

И Тишорт это поняла.

Все сидящие здесь люди, родившиеся в России, различные по дарованию, по образованию, просто по человеческим качествам, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию. Большинство эмигрировало на законных основаниях, некоторые были невозвращенцами, наиболее дерзкие бежали через границы. Но именно этот совершённый поступок роднил их. Как бы ни различались их взгляды, как бы ни складывалась в эмиграции жизнь, в этом поступке содержалось неотменимо общее: пересеченная граница, пересеченная, запнувшаяся линия жизни, обрыв старых корней и выращивание новых, на другой земле, с иным составом, цветом и запахом.

Теперь, по прошествии лет, сами тела их поменяли состав: вода Нового Света, его новенькие молекулы составляли их кровь и мышцы, заменили всё старое, тамошнее. Их реакции, поведение и образ мыслей постепенно меняли форму. Но при этом все они одинаково нуждались в одном – в доказательстве правильности того поступка. И чем сложнее и непреодолимей оказывались трудности американской жизни, тем нужнее были доказательства правильности того шага. Все эти годы для большинства из них вести из Москвы о всё нарастающей нелепости, бездарности и преступности тамошней жизни были, осознанно или бессознательно, желанным подтверждением правильности их жизненного выбора. Но никто не мог предположить, что всё происходящее теперь в этой далекой, бывшей, вычеркнутой из жизни стране – пропади она пропадом! – будет так больно отзываться... Оказалось, что страна эта сидит в печенках, в душе, и, что бы они о ней ни думали, а думали они разное, связь с ней оказалась нерасторжимой. Какая-то химическая реакция в крови – тошно, кисло, страшно...

Казалось, что она давно уже существует только в виде снов. Всем снился один и тот же сон, но в разных вариантах. Алик в свое время коллекционировал эти сны и даже собрал тетрадочку, которую назвал “Сонник эмигранта”. Структура этого сна была такая: я попадаю домой, в Россию, и там оказываюсь в запертом помещении, или в помещении без дверей, или в контейнере для мусора, или возникают иные обстоятельства, которые не дают мне

возможности вернуться в Америку, – например, потеря документов, заключение в тюрьму; а одному еврею даже явилась покойная мама и связала его веревкой...

Самому Алику этот сон явился в забавной разновидности: как будто он приехал в Москву, а там всё светло и прекрасно и старые друзья празднуют его приезд в какой-то многокомнатной квартире, страшно знакомой и запущенной, вокруг толчея и дружеская свалка, а потом все едут провожать его в Шереметьево, и это уже совсем не похоже на душераздирающие проводы прошлых лет, когда всё навсегда и насмерть. И вот уже надо идти на посадку, но тут вдруг появляется Саша Ноликов, старый приятель, сует ему в руку несколько собачьих поводков, на которых волнуются и пританцовывают милые небольшие дворняги, пестренькие, с лаячей кровью и загнутыми крендельком хвостами, – и исчезает. Все друзья куда-то подевались, и Алик стоит с этими собаками, и нет никого, кому бы он мог передать эту сворку, и уже объявляют, что регистрация на Нью-Йорк заканчивается. Какой-то служащий авиакомпании подходит к нему и сообщает, что самолет уже в воздухе... И он остается с этими собаками в Москве, почему-то известно, что навсегда. Беспокоит только одно: как Нинка будет платить за ателье в Манхэттене. И тут же, во сне, запахло лифтом, лофтом, не выветриваемым грубым табаком...

– Скажи, Алик, а там вы плохо жили? – Тишорт снова теребила его плечо.

– Дурочка... Отлично мы жили... Да мне всюду отлично...

Это точно. В Манхэттене он жил, как на Трубной, как на Лиговке, как по любому из своих долговременных или трехдневных адресов. Он быстро обживал новые места, узнавая их закоулки, подворотни, опасные и прекрасные ракурсы, как тело новой любовницы.

В годы юности всё вертелось с большой скоростью, но, при его повышенном внимании к миру и памяти, ничего не забывалось: он мог бы восстановить рисунок обоев всех комнат, где жил, лица продавщиц в ближайших булочных, узор лепнины на фасаде дома напротив, профиль щуки, пойманной на удочку в Плещеевом озере в шестьдесят девятом году, и лирообразную сосну с одним сбитым рогом, возвышающуюся посреди пионерского лагеря в Верее...

И словно в благодарность за память и внимание мир был благосклонен к нему. Он приезжал в распухший от дождей Кейп-Код, и вылезало дрожащее солнышко; он проходил мимо яблони, и выжидавшее этого момента яблоко падало к его ногам просто так, в подарок. Это качество распространялось даже на мир техники: когда он набирал номер, линия всегда была свободна. Здесь, правда, был маленький фокус. Когда, зная эту его способность, его просили набрать какой-нибудь номер, он иногда часами отказывался, а потом вдруг, уловив момент, мгновенно пробивался...

Америка явственно отвечала приязнью на его восхищение. А у Алика просто дух захватывало от новизны этого Нового Света. Он казался Алику новеньким в буквальном смысле этого слова. Старые, в три обхвата, деревья были выстроены из молодой и крепкой ткани. Здесь всё было плотнее, крепче и грубее. Алик, человек третьего, российского, мира, в тридцатилетнем возрасте прикоснулся и к Америке, и к Европе. Сначала Вена и Рим, все итальянские сладости, от которых почти год он не мог оторваться... Только уехав в Америку и прожив в ней первые годы безвыездно, он понял американскую зависть к старой Европе с ее прозрачной изношенностью, культурной утонченностью и даже исчерпанностью, равно как и высокомерное, но в глубине тоже завистливое отношение Европы к широкоплечей и элементарной Америке.

Алик, с рыжей щеточкой усов, с подвязанными в ту пору у шеи длинным жестким хвостом волосами, стоял между ними как третейский судья – и не могло быть лучшего судьи. Он не отличался беспристрастностью, напротив, он был невероятно и любовно пристрастен. Он обожал хайвеи Америки и разноцветную, самую красивую, как он полагал, в мире

толпу – толпу нью-йоркской подземки, американскую уличную еду и уличную музыку. Но он наслаждался маленькими круглыми фонтанчиками на круглых площадях Эксан-Прованса, отмечающего собой нежный переход между Францией и Италией, любил романскую архитектуру и всегда, когда ему попадались ее останки, радовался встрече, обожал изрезанные, как кленовые и березовые листья, берега греческих островов и средневековую Германию, каждую минуту обещающую открыть себя в Марбурге или в Нюрнберге, но не исполнившую обещания, зато всё, что не было найдено на улицах, обнаружилось в потрясающих немецких музеях, и немецкое искусство совершенно перешибло итальянское Возрождение. И пиво немецкое было отличное.

Он никогда не чувствовал необходимости принимать чью-то сторону, он стоял на своей собственной стороне, и это место позволяло ему любить всех равно.

Он бормотал девочке что-то куцее и, как ему самому казалось, незначительное об Америке и Европе, огорчился, что поглупел и не может сказать убедительно и связно. Она слушала его со вниманием, а потом спросила:

– А ты любишь Россию?

– Конечно, люблю.

– А почему? – всё приставала к нему Тишорт.

– По кочану, – грубо отрезал он.

Тишорт разозлилась. Она так и не научилась принимать в расчет его болезнь.

– И ты, и ты как все! Объясни – почему? Все говорят, что там очень плохо жили.

Алик честно задумался: вопрос оказался действительно не прост.

– Открыть секрет?

Тишорт кивнула.

– Подставь поближе ухо.

Она прислонила ухо к самым его губам, едва его не завалив.

– Никто в этом ни хрена не понимает, а самые умные только прикидываются, что понимают.

– При – что?

– Делают вид.

– И ты? И ты тоже? – как будто обрадовалась Тишорт.

– Я прикидываюсь лучше всех.

Вид у обоих был исключительно довольный. Ирина с ревнивым интересом смотрела в их сторону.

12

Хозяин дома был большая гнида. Алик как кость в горле торчал у него уже почти двадцать лет, и ничего с этим нельзя было поделать. Первый жилец, попавший сюда, как только дом перешел в руки этого хозяина и склады только-только освобождались, Алик платил ему за квартиру деньги, которые теперь были просто смешными. Тот старый контракт изменить было невозможно.

Район Челси, когда-то фабричный, запущенный, столь точно описанный любимым Аликом О’Генри, стал за эти годы почти фешенебельным. Рядом был Гринвич-Вилледж с богемной жизнью, музыкальными клубами и наркотическими забавами, и дух ночного веселья распространялся от него, захватывая близлежащие кварталы.

За последние двадцать лет здесь всё взлетело в цене, квартиры чуть не в десять раз, а Алик всё платил четыре сотни, да еще и постоянно задерживал.

Хозяин дома жил в богатом пригороде, всем ведал “суперинтендант” – поместь управ-дома с дворником. Это была должность наемная. Здешний “супер” Клод работал в доме почти с самого заселения, он был человек совсем особенный – полуфранцуз с каким-то зако-выристым прошлым. Из его обрывчатых рассказов то всплывал Тринидад с океанской яхтой, то выскакивала Северная Африка с опасными охотами. Похоже было на вранье, но одно-временно с этим складывалось впечатление, что подлинная его жизнь содержит кое-что не менее интересное. И Алик допридумал ему биографию, уверял всех, что тот великий кар-точный шулер, попался, сидел в турецкой тюрьме и бежал на воздушном шаре...

Дважды, в самые трудные времена, Клод, не лишенный художественных интересов и филантропических замашек, выручал Алика, покупал его работы. Не так уж много на свете домоуправов, покупающих живопись. Кроме всего прочего, Клод любил Нинку. Он прихо-дил иногда к ней поболтать, она варила ему кофе, когда-то даже раскладывала легкое дурац-кое гаданье “на даму”... Не знающая ни слова по-английски, Нинка, приехав в Америку, принялась за французский. В этом был какой-то особенный, только ей свойственный идио-тизм. Может быть, именно поэтому Клод ее так полюбил. Сам он тоже был человек со стран-ностями, единственный из всех, он даже предпочитал Нинку Алику.

Клод, приходя обыкновенно в первой половине дня, видел, что в хаотической и бес-форменной Нинкиной жизни присутствовал элемент строгого режима. Она вставала обык-новенно около часу и подавала слабый голос; Алик варил ей кофе и нес в спальню вместе со стаканом холодной воды. Обычно это было самое рабочее время, и в эти часы он с ней даже не разговаривал. Она медленно приходила в себя, долго принимала ванну, мазала лицо и тело разными кремами, присланными из Москвы подругой – местных она не признавала, – и бесконечно водила щеткой по знаменитым волосам. В молодости она несколько лет про-работала в московском Доме моделей и всё никак не могла забыть этого великого в жизни времени.

Надев черное кимоно, она снова забивалась в спальню с каким-нибудь восхитительно дурацким занятием: пасьянсом или складыванием огромных пазлов. Вот тут обыкновенно и приходил Клод. Она принимала гостя в кухне и пила свои наперсточные чашечки одну за другой. В это время дня она есть еще не могла и пить тоже. Она была действительно слабая – даже курить начинала ближе к вечеру, собравшись с силами, уже после первой еды и первого алкоголя.

Алик заканчивал часам к семи. Если водились деньги, шли обедать в один из маленьких ресторанов Гринвич-Вилледжа. Первые американские годы были у Алика поудачней, тогда еще не так много русских художников понаехало, он был даже в небольшой моде.

Нинка в начале американской жизни предпочитала всё восточное, это был самый пик ее увлечения, и они шли к китайцам или к японцам. Алик, конечно, знал самых настоящих.

Нинка к выходу усердно готовилась, одевалась, красилась. Брала с собой кошку Катю, привезенную из Москвы со всеми положенными справками, бледно-серую, с желтыми гла-зами. Катя тоже была сумасшедшая – какую нормальную кошку можно заставить часами лежать на плече, свесив расслабленно лапы?

Если к вечеру приходили друзья, заказывали пиццу внизу или китайскую еду из Чай-натауна, из любимого ресторана, где их знали. Хозяин всегда присылал для Нинки какой-нибудь маленький подарочек. Кто-нибудь приносил пиво или водку – большого пьянства тогда не было.

– Здесь климат такой, – говорил Алик, – здесь пьянства нет, есть алкоголизм.

Это была правда. На третьем году своего пребывания в Америке Нинка стала насто-ящим алкоголиком, правда малопьющим. Но красота ее от этого делалась всё пронзитель-ней...

Хозяин приехал накануне навести порядок в делах. Расчихвостил Клода за мусорный штраф и потребовал немедленного выселения Алика: неуплата за три месяца была достаточным основанием. Клод пытался даже защитить старых жильцов, говорил об ужасной болезни и, вероятно, скором конце.

– Я хочу сам посмотреть, – настаивал хозяин, и Клоду ничего не оставалось, как подняться на пятый этаж.

Шел одиннадцатый час, жизнь была в самом разгаре, когда они вышли из лифта. На грузного старика с розовым замшевым лицом никто внимания не обратил. Никакого ожидаемого буйного веселья и особого русского пьянства не происходило. Возле телевизора сидела большая компания. Хозяин огляделся. Он давным-давно сюда не заглядывал. Помещение прекрасное, немного отремонтировать – и можно взять тридцать пять сотен, а то и сорок.

– Он хороший художник, этот парень. – Клод указал глазами на работы, прислоненные к стене. Алик прежде не любил развешивать своих работ, ему мешали старые картины.

Хозяин взглянул мельком. У него был приятель, который держал в двадцатых годах здесь, в Челси, дешевенькую гостиницу, почти ночлежку, пускал всякий сброд, нищих художников, безработных актеров, продержался кое-как во времена Великой депрессии. Иногда брал у своих жильцов вместо денег их мазню, исключительно по доброте душевной, вешал в холле. А потом прошли годы – и оказалось, что у него собралась коллекция, которая стоила десяти гостиниц... Но это было давно, времена были другие, а теперь слишком уж много художников развелось. “Нет-нет, никаких этих картин”, – решил хозяин.

Нинка, увидев Клода, пошла к нему своей шаткой изящной походкой, готовя по дороге французскую фразу, но сказать не успела, потому что Клод первым ей сказал:

– Наш хозяин зашел по делу.

Нинка проявила неожиданную сметливость, заулыбалась, что-то прошептала неопределенное и рванулась к Либину. Обхватила его за голову и горячо зашептала в ухо:

– Вон там у двери хозяин, его “супер” привел. Ты сделай так, чтобы они к Алику не цеплялись. Умоляю.

Либин быстро смекнул, в чем дело, вышел к ним с придурковатой радостной улыбкой:

– Видите ли, в Москве политический переворот, мы несколько обеспокоены.

Звучало это так, как будто он премьер-министр соседнего государства. При этом он напирал на них животом и теснил к лифту. Они поддавались. Уже возле самой двери, перестав улыбаться, сказал четко и отдельно:

– Я брат Алика. Прошу прощения за задержку, счета я вчера оплатил и гарантирую, что больше таких задержек не будет...

“Сейчас этот чертов ирландец развопится”, – подумал Клод, но хозяин, ни слова не говоря, нажал лифтовую кнопку.

13

Двое суток телевизор не выключали. Двое суток не смолкал телефон и беспрерывно хлопала дверь. Алик лежал плоский и резиновый, как пустая грелка, но был оживлен и уверял, что ему много лучше.

Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, и они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома и дождались-таки минуты, когда Людочкин сын вдруг завопил:

– Папа, смотрите, папа!

На экране был бородатый человек в очках, всем, казалось, знакомый, он шел прямо на камеру, слегка наклонив голову.

Люда обхватила горло руками:

– Ой, Костя! Я так и знала, что он там!

К этому времени уже было ясно, что переворот не удался.

– Мы выиграли, – сказал Алик.

Откуда взялось это “мы”, совершенно непонятно. Но это было то самое “мы”, которому удивлялся отец Виктор в Париже, в самом начале войны. Дед его, белый офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией, устоявшееся за годы эмиграции “они” вдруг сменилось у него на это самое “мы”, и в сорок седьмом он едва не уехал в Россию себе на погибель...

Либин был с Аликом совершенно не согласен, но сегодня не собирался спорить, только пробормотал:

– Ну, вот это как раз совершенно неизвестно, кто в действительности выиграл...

Все радовались, что не началась гражданская война, что танки вышли из города.

Непрерывно шла хроника: на Лубянке свалили Дзержинского и показали опустевший цоколь, лучший из всех памятников советской власти – пустой пьедестал. Партия – из гранита, мрамора, стали, как она сама себя расписывала, – сыпалась как труха, исчезала как наваждение.

Хоронили троих погибших – три случайные песчинки были выбраны из толпы небесной рукой: ребята с хорошими лицами – русский, украинец, еврей. Над двумя машут кадиллом, третий покрыт талесом. Таких похорон еще не было в этой стране... И тысячи, тысячи людей...

Казалось, всё гнилое, больное, подлое, что так долго копилось, разом обломилось, обрушилось и, как выплеснутые помои, как куча выброшенного смрадного хлама, уплывает по реке...

И здешние, бывшие русские, в полном единодушии радовались, и всеобщая радость по этому поводу выражалась не в том, что пили больше обычного, а в том, что запели старые советские песни. Лучше всех пела Валентина:

Всё стало вокруг голубым и зеленым...

Над каждым окошком поют соловьи...

В этом квартале, в этой квартире не было ничего голубого и зеленого, и все они прекрасно знали, что все цвета в их новой стране имеют другие оттенки, иную степень напряженности, но каждый вспоминал цвета своего собственного детства: Валентина – Институтскую улицу в Калуге, текущую к мыльно-голубой Оке между двух рядов бледных лип, Алик – голубое и зеленое Подмосковье, доверчивый и ласково-неуверенный цвет первой листвы и нежного, в длинных переливах, неба, а Файка – Марьину Рошу с хромыми палисадниками и грубыми, топорно сделанными золотыми шарами на фоне едко-зеленого забора...

Снизу, правда, тянуло прежней музыкой, и не обычной южноамериканской сальсой, а чем-то диким, бессмысленным, с постукиванием и подвыванием. Алик, более всех чувствительный к музыке, взмолился:

– Либин, Христа ради, пойдти заткни их как-нибудь.

Либин, прихватив Наташу, исчез.

В телевизоре шли толпы, толпы. В комнате тоже было много народу, и даже казалось, что они как-то связаны. Временами Алик замечал, что среди привычных лиц вдруг промелькивало незнакомое. Он увидел какого-то маленького седого старичка с кожаным ремешком на лбу, в странной белой одежде, но как-то не в фокусе.

– Нин, а кто этот старичок? – спросил он.

Нинка встревожилась – неужели он заметил хозяина?

– Я про того маленького, с белой бородкой...

Нинка огляделась – никакого старичка не было.

Невыносимая музыка вдруг куда-то исчезла. Зато появились чьи-то дети, в большом количестве. Странные малосимпатичные дети с немного зверушечьими личиками. И несмотря на поздний вечер, было очень жарко. Подошла Валентина:

– Ну что?

– Спой что-нибудь прохладное.

Валентина села рядом с Аликом, обхватила его высохшую ногу и запела тихо и очень внятно:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня...

Голос у Валентины был действительно прохладным, и от него расходились по воздуху тонкие морщины, как после игрушечного кораблика, пущенного на воду.

Алик увидел себя втиснутым в толстую коричневую шубу, в тесной цигейковой шапке поверх белого платка, на шубе ремень с любимой пряжкой, а сам он сидит в салазках с гнутой спинкой, впереди его идут мамины войлочные ботинки и бьется подол синего пальто о серый войлок. Рот у него туго завязан шерстяным шарфом, а в том месте, где губы, шарф мокрый и теплый, но надо сильно дышать, очень сильно, потому что, как только перестаешь дышать, ледяная корочка запечатывает эту теплую лунку и шарф сразу же промерзает и колет...

Дети, которых делалось всё больше и больше, они тоже как будто в шубах, в пушистых заснеженных шубах...

Хлопнула дверь – из лифта вывалился Либин с шестью парагвайцами. Все парагвайцы были почти одинаковые, мелкорослые, в черных брюках и белых рубашках, с маленькими барабанчиками, трещотками и колотушками. Они шли, погромыхивая своей музыкой.

– Нин, ну а эти откуда взялись? – неуверенно спросил Алик.

– Либин привел.

Либин был пьян вдребезги. Он подошел к Алику:

– Алик! Отличные ребята оказались. Я поставил им выпить. Думаю, они же не могут играть, когда руки стаканом заняты. И точно. Отличные ребята, только по-английски не говорят. Один немного спикает. А другие даже по-испански не очень умеют. У них язык гуарани или что-то похожее. Мы выпили чуток, я говорю: у меня друг болен. А они говорят: у нас есть такая музыка специальная, для тех, кто болен. А? Занятные ребята такие...

Занятные ребята тем временем выстроились гуськом, друг другу в затылок. Первый, со шрамом через кирпично-смуглое лицо, ударил в барабанчик, и они двинулись по кругу, коротконогие, чуть приседая на каждом шагу, ритмично покачиваясь и издавая какие-то криковдохи.

Девушки, изнемогшие за последнюю неделю от их музыки, зашлись от немого смеха.

Но здесь, в помещении, эта музыка звучала совсем по-другому. Она была до жути серьезная, имела отношение не к уличному искусству, а к другим, несоизмеримо более важным вещам. В ней присутствовал стук сердца, дыхание легких, движение воды и даже ворчащие звуки пищеварения. А сами музыкальные инструменты – Боже правый! – были черепами и малыми косточками, и скелетики висели на самих музыкантах, как праздничные украшения... Наконец музыка замерла, но не успел народ загудеть, вклинившись в эту паузу, как они развернулись в другую сторону и опять двинулись гуськом по кругу, и пошла другая музыка – древняя, жуткая...

– Пляска смерти, – догадался Алик.

Теперь, когда ему открылся смысл этой музыки как буквальный рассказ об умирании тела, он понял также, что их движение противусолонь было прологом к какой-то следующей теме. Та монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его всё последнее время, оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего-то недосказав.

Гости всё прибывали. Алик разглядел в толпе своего школьного учителя физики, Николая Васильевича, по прозвищу Галоша, и вяло удивился: неужели он эмигрировал на старости лет?.. Сколько же ему теперь?.. Колька Зайцев, одноклассник, попавший под трамвай, худенький, в лыжной курточке с карманами, подбрасывал ногой тряпичный мячик, как мило, что он приволок его с собой... Двоюродная сестра Муся, умершая девочкой от лейкоза, прошла через комнату с тазом в руках, только не девочкой, а уже вполне взрослой девушкой. Всё это было ничуть не странно, а в порядке вещей. И даже было такое чувство, что какие-то давние ошибки и неправильности исправлены...

Фима подошел и потрогал холодную руку:

– Алик, может, тебе хватит гулять?

– Хватит, – согласился Алик.

Фима поднял его легчайшее тело и отнес в спальню. Губы Алика были синими, ногти на руках – голубыми, и только волосы горели неизменной темной медью.

“Гипоксия”, – отметил автоматически Фима.

Нина тащила с подоконника бутылку с травяным настоем...

Главный из парагвайцев, их толмач, подошел к Валентине и попросил разрешения потрогать ее волосы. Одну руку он запустил в свои грубые угольно-блестящие патлы, а пальцами другой прошелся по Валентиным, выкрашенным разноцветными прядями, и засмеялся – чем-то его порадовала ее пестрая голова. Две недели тому назад они приехали в Нью-Йорк из большой деревни, затерявшейся в тропическом лесу, и не все диковинки здешнего мира успели потрогать руками. У нее же возникло странное ощущение, будто на нее надели тубетейку. Впрочем, в этом не было ничего неприятного и через несколько минут прошло.

Алик ловил воздух. Он знал, что надо дышать получше, иначе теплая лунка в шарфе затянется. Он делал судорожные вдохи, которых получалось больше, чем выдохов.

– Устал...

Фима сжал его запястье, сухое, как ветка мертвого дерева. Умирала диафрагмальная мышца, умирали легкие, умирало сердце. Фима раскрыл саквояж и задумался.

Можно ввести камфару, подогнать истощенное сердце, пустить его галопом. Надолго ли хватит?.. Можно наркотик. Приятное забвение, из которого он скорее всего не вернется. А если оставить всё так, как есть... сутки, двое... Никто не знает, сколько часов это может продолжаться...

Эта страна ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицающая страдание молодая нация разработала целые школы – философские, психологические и медицинские, – занятые единственной задачей: любой ценой избавить человека от страдания. Идея эта с трудом ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, выросли, умнели... Да и еврейская Фиминая кровь, тысячелетиями перегоняемая через фильтр страдания, как будто несла в себе какое-то жизненно важное вещество, которое в отсутствие страдания разрушалось. Люди такой породы, избавляясь от страдания, теряют и почву под ногами...

Но к Алику всё это не имело отношения. Фима не хотел, чтобы его друг так жестоко страдал последние часы жизни...

– Ниночка, а теперь мы вызовем амбуланс, – сказал Фима гораздо более решительно, чем оно было у него в душе...

14

Машина приехала через пятнадцать минут. Здоровенный черный парень баскетбольного роста с выдвинутой челюстью и щуплый интеллигент в очках. Врачом оказался негр, а тот, второй, – беглый поляк или чех, как решил Фима, и тоже не дотянувшийся до американского диплома. Сходство непрощеное и неприятное. Фима отошел к окну.

Негр откинул простыню. Провел рукой перед глазами Алика. Алик никак не отреагировал. Врач сжал запястье, утонувшее в его громадной руке, как карандаш. Фраза, которую он произнес, была длинной и совершенно непонятной. Фима скорее догадался, что тот говорит об искусственных легких и о госпитализации. Но даже не понял, предлагает он его забрать в госпиталь или, наоборот, отказывается.

Но Нинка качала головой, трясла волосами и говорила по-русски, что никуда Алика не отдаст. Врач внимательно смотрел на ее отощавшую красоту, потом прикрыл большие веки в огромных ресницах и сказал:

– Я понял, мэм.

После чего он набрал в большой шприц жидкость из трех ампул и вкатил Алику между кожей и костью, в почти отсутствующее бедро.

Очкарик кончил свою писанину, свел страдальчески лохматые брови на долгоносом лице и сказал врачу с акцентом, даже Фиме показавшимся чудовищным:

– Женщина в плохом состоянии, введите ей транквилизатор, что ли, принимая во внимание...

Врач стащил с рук перчатки, бросил в кейс и, не глядя в сторону советчика, буркнул что-то презрительное. Фиму просто передернуло: как он его...

“Чего я здесь сижу как мудака: ничего не высижу. Надо возвращаться”, – впервые за все эти пропащие годы подумал Фима. И вдруг испугался: а смогу ли я, в самом деле, снова стать врачом? А смог бы я сдать все эти поганые экзамены по-русски? Да, впрочем, кто в Харькове с него спросит, там-то диплом годится...

После ухода бессмысленной медицины Нина вдруг страшно засуежилась. Опять начала носиться с бутылками. Села у ног Алика, налила себе в ладонь жидкость и стала растирать Алику ноги, от кончиков пальцев вверх, к голени, потом к бедру.

– Они ничего, ничего не понимают. Никто ничего не понимает, Алик. Они просто ни во что не верят. А я верю. Я верю. Господи, я верю же. – Она лила горсть за горстью, пятна расплывались на простыне, брызги летели в разные стороны, она яростно терла ноги, потом грудь. – Алик, Алик, ну сделай же что-нибудь, ну скажи что-нибудь. Ночь проклятая... Завтра будет лучше, правда...

Но Алик ничего не отвечал, только дышал судорожно, напряженно.

– Нинок, ты приляг, а? А я его сам помассирую. Хорошо? – предложил Фима, и она неожиданно легко согласилась. – Там Джойка сторожит. Она хотела сегодня подежурить. Может, ты там, на коврик? А она здесь посидит.

– Пусть катится. Не нужен никто. – Она легла лицом вниз, в ногах у Алика, поперек широченной тахты, где он совсем уже терялся, и всё продолжала говорить: – Мы поедем на Джамайку или во Флориду. Возьмем напрокат машину большую и всех возьмем с собой: и Вальку, и Либина, всех-всех, кого захотим. И в Диснейленд по дороге заедем. Правда, Алик? Отлично будет. Будем в мотелях останавливаться, как тогда. Они ни черта не понимают, эти врачи. Мы тебя травой поднимем, еще не таких поднимали... еще не таких лечили...

– Тебе поспать бы надо, Нин.

Она кивнула:

– Попить принеси.

Фима пошел навестить ей ее поила. Гости разошлись.

В мастерской, в уголке, сжалась Джойка с сереньким Достоевским, всё ждала, не позвонят ли ее дежурить. Укрывшись с головой, спал кто-то из оставшихся гостей. Люда, домывая стаканы, спросила у Фимы:

– Что?

– Агония, – сказал Фима только одно слово.

Он отнес Нине ее питье. Она выпила, свернулась в ногах у Алика, потом стала что-то неразборчиво бормотать и вскоре уснула. Она, кажется, еще не понимала, что происходит.

Завтра, то есть уже сегодня, у Фимы был рабочий день, послезавтра он мог бы взять отгул, третьего дня, наверное, уже не понадобится. Он сел на тахту, раскинув шишковатые колени, поросшие ковровыми волосами, корявый неудачник, зануда. Он ничего сейчас не мог делать, кроме как сидеть, грустно потягивая водку с соком, смачивать Алику губы – глотать он уже совсем не мог – и ожидать того, что должно произойти.

Ближе к утру пальцы у Алика стали мелко подрагивать, и Фима решил, что пора поднимать Нинку. Он погладил ее по голове – она возвращалась откуда-то издалека и, как всегда, долго соображала, куда же ее вынесло. Когда глаза ее осветились пониманием, Фима сказал ей:

– Нинок, вставай!

Она склонилась над мужем и заново удивилась перемене, которая произошла с ним за недолгое время, что она спала. У него сделалось лицо четырнадцатилетнего мальчика – детское, спокойное, светлое. Но дыхание было почти неслышим.

– Алик. – Она тронула руками его голову, шею. – Ну, Алик...

Отзывчивость его была всегда просто сверхъестественной. Он отзывался на ее зов мгновенно и с любого расстояния. Он звонил ей по телефону из другого города именно в ту минуту, когда она его мысленно об этом просила, когда он бывал ей нужен. Но теперь он был безответен – как никогда.

– Фима, что это? Что с ним?

Фима обнял ее за тощие плечи:

– Умирает.

И она поняла, что это правда.

Ее прозрачные глаза ожили, она вся подобралась и неожиданно твердо сказала Фиме:

– Выйди и пока сюда не заходи.

Фима, ни слова не говоря, вышел.

15

Люда нерешительно ткнулась в спальню.

– Все выйдите, все, все! – Нинкин жест был величественный и даже театральный.

Джойка, сидевшая в уголке, уперев подбородок в колени, изумилась:

– Нина, я пришла за ним сидеть.

– Я говорю – все убирайтесь!

Джойка вспыхнула, затряслась, подскочила к лифту. Люда растерянно стояла посреди мастерской... Натянув одеяло на голову, похрапывал уснувший гость. А Нинка метнулась в кухню, вытащила из каких-то глубин белую фаянсовую супницу.

На мгновение предстал тот чудесный день, когда они приехали в Вашингтон, переночевали у Славки Крейна, веселого басиста, переквалифицировавшегося в грустного программиста, как позавтракали в маленьком ресторанчике в Александрии, возле скверика. Пенсионеры играли на улице чудовищно плохую, но совершенно бесплатную музыку, а потом Крейн повез их на барахолку. День был такой веселый, что решили купить что-нибудь прекрасное, но за полтинник. Денег, правда, было очень мало. И тут к ним пристал седой красивый негр с изуродованной рукой, и они купили у него английскую супницу времен Бостонского чаепития, а потом весь день таскали с собой эту большую и неудобную вещь, которая никак не влезала в сумку, а Крейн со своей машиной поехал кого-то встречать или провожать.

“Так вот зачем мы ее тогда купили”, – догадалась Нинка, наливая в нее воду.

Она вся распрямилась, ростом стала еще выше, торжественно пронесла супницу в спальню, держа ее высоко, на уровне лица, и прижимаясь к бортику губами.

“Совсем, совсем сумасшедшая, что с ней будет”, – сморщился Фима.

Она уже забыла, что всех выгнала.

Супницу она осторожно поставила на красную табуретку. Вытащила из комода три свечи, зажгла их, расплавила снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Всё получалось у нее с первого раза, без труда, нужные вещи как будто выходили ей навстречу.

Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить, но Алик говорил:

– Нинка, молчи. Мы слишком хорошо живем.

А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде вериг на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке и он должен Его разыскать. И он искал, гоняя по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то надоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу – не то Серафим, не то Севастьян, – тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах...

Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновение. Какая-то мысль ее тревожила... об имени... Имя у него было совершенно невозможное – в честь покойного деда родители записали его Абрамом. А звали всегда Аликом и, пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову – назвать ребенка столь нелепо и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более что, получая американские документы, он записался Аликом...

Человек, которому носить вообще какое бы то ни было имя оставалось совсем недолго, изредка судорожно всхрапывал.

Нинка кинулась искать церковный календарь, сунула наугад руку в книжную полку и за кривой стопкой кое-как лежащих книг сразу же нашла старый календарь. Под двадцать пятым августа стояло: мчч. Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра... Опять всё было правильно. Имя годилось. Всё шло ей навстречу. Она улыбалась.

– Алик, – позвала она мужа. – Не сердись и не обижайся: я тебя крещу.

Она сняла с длинной шеи золотой крест – бабушки, терской казачки. Ей про всё объяснила Марья Игнатьевна: любой христианин может крестить, если человек умирает. Хоть крестом золотым, хоть спичками, крестиком связанными. Хоть водой, хоть песком. Теперь только надо было сказать простые слова, которые она помнила. Она перекрестилась, опустила крест в воду и хриплым голосом произнесла:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Она начертила крест в воде, окунула в супницу руку, набрала в горсть воды и, стряхнув ее на голову мужу, закончила:

– ...крещается раб Божий Алик.

Она даже не заметила, что такое подходящее имя – Александр – вылетело у нее из головы в решающую минуту.

Дальше она не знала, что ей делать. С крестом в руке она села возле Алика, провела пальцами, размазывая крещальную воду по лицу, по груди. Одна из свечей прогнулась и, пренебрегая законом физики, упала не наружу, а внутрь ставшего священным сосуда. Зашипела и погасла. Потом Нина надела свой крест ему на шею.

– Алик, Алик, – позвала она его.

Он не отозвался, только вздохнул с горловым храпом и снова затих.

– Фима! – крикнула она. Фима вошел.

– Ты посмотри, что я сделала, – я его крестила.

Фима повел себя профессионально:

– Ну, крестила и крестила. Хуже не будет.

Оживление и чудесное чувство уверенности, что всё она делает правильно, вдруг покинуло Нину. Она отодвинула табурет в угол, легла рядом с Аликом и понесла какую-то окоlesiцу, в которую Фима не вслушивался.

Приоткрылась дверь, вошел Киплинг – тихая собака, которая третьи сутки лежала у двери и ждала свою хозяйку. Киплинг положил голову на тахту.

“Надо его вывести”, – сообразил Фима. Было уже пора собираться на работу. Джойка, обидевшись, ушла. Уехала среди ночи и Люда. Фима разбудил спящего – им оказался Шмуль, а не Либин, как Фима предполагал, и это было очень кстати, потому что Шмулю торопиться было некуда, он всю свою американскую жизнь, лет десять, сидел на пособии. Фима растолкал его, дал на крайний случай инструкцию и свой рабочий телефон. Теперь оставалось вывести Киплинга – он стоял смиренно возле двери и помахивал хвостом – и ехать на работу.

16

Следующий после крещения день Нинка не выходила из спальни, лежала обхватив Алика за ноги и никого туда не пускала.

– Тише, тише, он спит, – говорила она каждому, кто приоткрывал дверь.

Он был в забытьи, только изредка похрипывал. При этом всё, что говорили вокруг, он слышал, но как будто из страшной дали. Временами ему даже хотелось сказать им, что всё в порядке, но шарф был повязан туго, и распустить его он не мог.

Одновременно он был сильно поглощен новыми ощущениями. Он чувствовал себя легким, туманным и вполне подвижным. Он двигался внутри какого-то черно-белого фильма, только черное не было вполне черным, а белое – белым. Скорее всё состояло из оттенков серого, как если бы пленка была старой и заезженной. Ничего неприятного в этом не было.

В движении, по которому он так стосковался за последние месяцы, было блаженство, сравнимое разве что с наркотическим. Тени, мелькавшие на обочине размытой дороги, были смутно-знакомыми. Некоторые напоминали древесные силуэты, другие были человекоподобны. И снова появился школьный учитель Николай Васильевич Галоша, и Алик с удовольствием отметил про себя, что это явление Николая Васильевича, математика, человека трезвого и строгого разума, и было как раз доказательством полной реальности происходящего и избавило от тонкого беспокойства: не сон ли это, не бред ли какой-нибудь... Николай Васильевич его явно узнал, сделал приветственный жест, и Алик понял, что тот к нему направляется.

Нина опять стала звенеть бутылочками, но звон был скорее приятный, музыкальный. Наливая в горсти остатки травяного настоя, она шептала что-то невнятное, но всё это ему не мешало, совершенно не мешало. Галоша к тому времени был уже совсем рядом, и Алик

увидел, что тот по-прежнему беззвучно пошлепывает губами, как это делал в школе, и эту его привычку Алик позабыл, но теперь с умилением вспомнил. Это тоже было очень убедительно: нет, не сон, всё так оно и есть...

В середине дня пришел мастер по установке кондиционеров, индифферентный мулат в золотых цепочках, с молоденьким чахлым помощником, – кто-то из друзей оплатил вызов. Нинка впустила их в комнату, и они быстро наладили кондиционер, ни разу не взглянув в сторону умирающего. Жара в комнате довольно быстро сменилась пыльной прохладой. Потом пришла Валентина – Нинка ее не впустила, и она осталась сидеть в мастерской вместе с вернувшейся Джойкой.

На грязном белом ковре в углу, засунув под голову свернутое одеяло, уютно устроилась Тишорт и читала по-английски книгу, которую мечтала прочесть в оригинале. Это была “Великая Книга Освобождения”. Со вчерашнего дня она всё думала о том, какая жалость, что она не мужчина и не может уйти в тибетский монастырь. А с утра спросила у матери, нельзя ли ей сделать такую операцию, чтобы грудь в два раза уменьшить... Как будто это могло ее приблизить к прекрасному делу тибетского монаха...

Подушки были засунуты за спину Алику, он почти сидел на кровати. Нина смачивала ему потемневшие и высохшие губы, пыталась вдуть воду через соломинку, но она сразу же вытекала.

– Алик, Алик. – Она звала его, трогала, гладила. Припала губами к подвздошной ямке, прошла языком вниз, к пупку, по той еле заметной линии, что делит человека надвое. Запах тела показался чужим, вкус кожи – горьким. В этой горечи она мариновала его два месяца не переставая.

Она замерла лицом в рыжих завитках коротких волос и подумала: а волосы совершенно не меняются...

Наконец она перестала его тормошить и затихла, и тогда Алик сказал вдруг очень внятно:

– Нина, я совершенно выздоровел...

Когда Фима в восьмом часу приехал с работы, в спальне он застал престранное зрелище: голая Нинка, подложив под себя черное кимоно, сидела лицом к Алику, натирала свои чудесные руки травяной гущей и приговаривала:

– Ты видишь, как она помогает, такая хорошая травка...

Она подняла на Фиму сияющие глаза и сказала торжественно и полусонно:

– Алик мне сказал, что он выздоровел...

“Умер”, – догадался Фима. Он коснулся Аликовой руки – она была пуста, барабанная музыка ушла из нее.

Фима вышел из спальни в мастерскую, налил себе полстакана дешевой водки из большой бутылки с ручкой, выпил, прошелся несколько раз из конца в конец мастерской. Народу было еще не так много, собирались попозже. Никто на него не смотрел, все были заняты: Валентина с Либиным играла в Аликовы нарды, Джойка раскладывала карты Таро, которым научила ее Нинка, – пыталась внести ясность в свою и без того ясную одинокую жизнь. Файка ела яичницу с майонезом. Она всё ела с майонезом. Московская Люда давно уже перемыла всю посуду и сидела теперь рядом с сыном около телевизора в ожидании свежих новостей из Москвы.

– Алеша, выключи телевизор. Алик умер, – тихо сказал Фима. Так тихо, что его не услышали. – Ребята, Алик умер, – повторил он так же тихо.

Хлопнул лифт, вошла Ирина.

– Алик умер, – сказал он ей, и тут наконец все услышали.

– Уже? – вырвалось у Валентины с такой тоской, как будто он обещал ей жить вечно и нарушил планы своей несвоевременной смертью.

– Oh shit! – воскликнула Тишорт и, отшвырнув книжку, бросилась к лифту, едва не сбив мать с ног.

Ирина стояла возле двери, потирая ушибленное плечо. “Может, в Россию съездить на недельку, найду Казанцевых, Гисю... – Гися была Аликова старшая сестра. – Она, наверное, совсем старуха, Алика старше была на четырнадцать лет. Она меня любила...”

Джойка отложила карты и заплакала.

Все стали почему-то одеваться. Валентина нырнула головой в длинную индийскую юбку. Люда надела босоножки. Хотели пойти в спальню, но Фима остановил:

– Погодите, Нинка еще не знает. Надо ей сказать.

– Ты скажи, – попросил Либин.

Он с Фимой уже три года не разговаривал, но тут и сам не заметил, как попросил.

Фима приоткрыл дверь спальни: там было всё то же. Лежал Алик, покрытый до подборка оранжевой простыней, на полу сидела Нинка, натирая свои узкие ступни с длинными пальцами, и приговаривала:

– Это хорошая травка, Алик, в ней ужасная сила...

Еще там был Киплинг. Он положил передние лапы на тахту, на них свою умную и печальную морду.

“Какая глупость про собак, что они боятся покойников”, – подумал Фима.

Он приподнял Нинку, поднял с полу ее промокшее кимоно и накинул ей на плечи.

Она была послушна.

– Он умер, – в который уже раз выговорил Фима, и ему показалось, что он уже привык к новому положению мира, в котором Алика больше нет.

Нинка посмотрела на него внимательными прозрачными глазами и улыбнулась. Лицо у нее было усталое и немного хитрое.

– Алик выздоровел, знаешь...

Он вывел ее из спальни. Валентина уже тащила ей ее питье. Нинка выпила, улыбнулась светской, ни к кому не обращенной улыбкой:

– Алик выздоровел, знаете? Он сам мне сказал...

Джойка издала звук, похожий на смех, и выскочила в кухню, зажимая рот. Снизу звонили в домофон. Нина сидела в кресле со светлым и растерянным лицом и гоняла палочкой лед в стакане.

Чисто Офелия. А защита – как у хорошего боксера: ничего не хочет знать. Всё правильно, никогда он не мог ее оставить, она живет вне реальности, а он всегда ее безумие собой прикрывал. “Есть, есть логика в этом безумии”. Делать Ирине здесь больше было нечего, захотелось поскорее уйти.

Она спустилась вниз. Тишорт не ждала ее около подъезда. Дочку свою она упустила. Ирина пересекла медленный машинный поток и зашла в кафе.

Догадливый черный бармен спросил утвердительно:

– Виски?

И тут же поставил стакан.

“А, конечно же, Аликов приятель”, – сообразила Ирина и, указав пальцем в сторону противоположного дома, сказала:

– Алик умер.

Тот мгновенно понял, о ком идет речь. Он воздел лепные руки в серебряных кольцах и браслетах, так что они звякнули, сморщил темное ямайское лицо и сказал на языке Библии:

– Господи, почему ты забираешь у нас самое лучшее?

Потом плеснул себе из толстой бутылки, быстро выпил и сказал Ирине:

– Слушай, девочка, а как там Нина? Я хочу дать ей денег.
Ее давно уже никто не называл девочкой.

И вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли... Беспечный, безответственный. Здесь так не живут. Так нигде не живут! Откуда, черт возьми, это обаяние, даже девочку мою зацепил? Ничего такого особенного ни для кого он не делал, почему это все для него расшибаются в лепешку... Нет, не понимаю. Не могу понять...

Ирина подошла к автомату в глубине кафе, сунула карточку, набрала длинный номер. Дома у Харриса стоял автоответчик, в конторе подошла старая обезьяна секретарша, сказала, что он сейчас занят.

– Соедините срочно, – попросила Ирина и назвалась.

Харрис тотчас же снял трубку.

– Я освободилась и могу приехать на weekend.

– Позвони, когда тебя встречать. – Голос его звучал суховато, но Ирина всё равно знала, что он обрадовался.

Красноватое сухое лицо, чистые усы, опрятная зеркальная лысина... Диван, стакан, лимон... одиннадцать минут любви, можно проверять по часам, – и чувство полнейшей защищенности, когда устраиваешь голову на обросшей кудлатой шерстью широкой груди... Это всё очень серьезно, и это надо довести до конца...

17

Прошлое было, конечно, неотменимо. Да и чего в нем было отменять...

Она отработала последнее представление в Бостоне и, не заходя в гостиницу, поехала в аэропорт. Купила билет и через два часа была в Нью-Йорке. Год был семьдесят пятый. В кармане оставалось после покупки билета четыреста тридцать долларов, которые она привезла из России в кармане брюк. Правильно сделала – деньги на руки труппе так и не дали, обещали выдать в последний день, на покупки, но ждать уже было невозможно.

Она сидела в самолете, поглядывала на часы и понимала, что скандал начнется завтра утром, а не сегодня вечером. Сегодня потное руководство будет бегать по паршивой гостиничке, ломиться во все номера и допрашивать, когда последний раз видели Ирку. Какие будут анафемы, начальник отдела кадров полетит с работы, это уж конечно... Отец на пенсии, наверняка чем-нибудь торгует, он выкрутится. А мама, умница, только обрадуется, маме позвоню завтра. Скажу, что всё у меня получилось отлично, нечего за меня беспокоиться...

В Нью-Йорке позвонила Перейре, цирковому менеджеру, который обещал помочь. Его не было дома. Как потом выяснилось, не было и в городе. Он просто забыл предупредить Ирину о своем отъезде. Второй, случайный телефон, который был у нее, – Рея, клоуна, с которым она познакомилась за три года до того на цирковом фестивале в Праге. Он был дома. Она с трудом объяснила ему, кто она такая. Вне всякого сомнения, он ее не вспомнил, но приехать разрешил.

Ее первая ночь в Нью-Йорке прошла как в бреду. Рей жил в крохотной квартирке в Вилледже со своим другом. Тот и открыл дверь, стройный молодой человек в женском купальнике. Они оказались замечательные ребята и здорово ей помогли. Потом Рей признался, что совершенно ее не помнил и вообще не уверен, что был когда-либо в Праге.

Поскольку Бутан – имя это, фамилия или прозвище сожителя Рея, Ирина так и не узнала – жил в Америке нелегально уже пять лет, ее безумный шаг не показался им таким уж безумным. Сами они сидели в это время без денег и без ангажемента и размышляли, как бы им заплатить за квартиру. На следующее утро они оплатили счет Иркиными

деньгами и отправились на заработки. Заработки имели место в Центральном парке, и, как они сказали, Ирка принесла удачу.

Первые несколько дней она корячилась на коврике со своими акробатическими штучками, а потом сшила пять тряпичных кукол, надела их на руки, на ноги и на голову, и заработки их совсем уж устроились. Ирка скромно спала на трех диванных подушках в смежной комнате, ни в чем не ограничивая их сексуальной свободы. Через некоторое время Бутан стал к ней слегка приставать, а Рей начал по этому поводу нервничать. Идея их тройственного союза, таким образом, висела на волоске. Ирка еще выходила с ними на работу, но уже понимала, что надо срочно искать другой способ существования. Вообще они были славные ребята, и она как-то совершенно успокоилась насчет своей резкой линьки: оказалось, таких, как она, пол-Америки.

В один из августовских дней она отыграла свой номер возле входа в маленький зоопарк в Центральном парке и обнаружила себя в объятиях Алика, который двадцать минут внимательно наблюдал за веселой работой ее мускулистых рук и ног.

Еще через двадцать минут она вошла в тот самый лофт, в те времена еще не перегороденный. Алик к тому времени прожил уже два года в Америке, много работал и прилично продавался. Он был весел, независим, эмиграция его складывалась удачно. Он смотрел на Ирку, сделанную из маленького юркого животного, но с человеческим и дерзким лицом, и понимал, что она и есть то, чего ему не хватает.

С тех пор как они расстались, прошло семь лет. Теперь казалось, что это совершенно выброшенные годы, и они старались поскорее наверстать упущенные слова, жесты, движения. Им не хватало двадцати четырех часов в сутки. Всё было стеклянным и прозрачным. Земли под ногами не было.

Однажды ночью, возвращаясь домой, они нашли выброшенный из богатого дома огромный белый ковер и с трудом приволокли его в мастерскую. Теперь Ирка сидела на этом ковре, в естественной для нее позе лотоса, и держала перед собой учебник английской грамматики. Это была Аликова идея, что начинать надо именно с грамматики. Она ее долбила. А он возился со своими гранатами. Весь дом был ими завален: розовыми, багровыми, ссохшимися, бурыми, разломленными и подгнившими – и просто их сухими трупами, из которых был выжат жгучий сок.

Гранаты на его картинах того времени присутствовали в одиночку, парами, небольшими группами, совершали обмены и перекидки. И можно было предположить, что, производя эти несложные манипуляции, он вдруг откроет новое, никому не известное число в пределах всем известного числового ряда, например между семью и восемью...

Восемьдесят восемь дней прожила Ирка в этой мастерской. Они ели, разговаривали, обнимались, принимали теплый душ – потому что тогда тоже была жара и трубы прогревались, – и всё было счастье, вернее сказать, только начало счастья, потому что и представить себе было невозможно, чтобы всё это кончилось. Джаплиновские композиции рассыпались по ночам.

В жестких Иркиных губах проступала расплывчатая нежность: она уже знала, что беременна, и всё тело ее с головы до ног испытывало физиологическое счастье. Алик об этом еще не знал.

Он и без этого известия не особенно хорошо представлял себе, что ему делать. В то время он как раз ждал приезда Нинки, с которой развелся перед отъездом, и тогда ему самому не было ясно, развелся он с ней в шутку или всерьез. Отец ее никогда в жизни не дал бы ей разрешения на выезд, Алик же твердо решил уезжать. После его отъезда Нинка начала загибаться от своего тихого безумия, пыталась покончить с собой – это был уже второй суицид, лежала в психушке, звонила, звонила... Теперь же нашли наконец подставного американца,

он на Нинке женился, и Нинка оформляла выезд на постоянное жительство к фиктивному мужу. Такие бумаги требовали иногда нескольких лет беготни.

Алик полоснул ножом по длинной розовой дыне, она распалась надвое – зазвонил телефон. Счастливая Нинка сообщила, что получила разрешение и уже заказала билет.

– Ну вот, а теперь я не знаю, как из этого выбираться, – положив трубку, объявил Алик. Для Ирки вся эта история была совершеннейшей новостью.

– Без меня она не выживет, очень уж она слабенькая...

Он хорошо помнил, что Ирка сильная, умеет ходить на руках по самому краю крыши, не боится ни начальств, ни властей... Поэтому он предполагал снять ей жилье у каких-то своих знакомых на Стейтен-Айленд и постепенно разобраться с глупой и безвыходной ситуацией, в которую попал. Про Иркину гордость, которая за эти годы не стала меньше, он забыл. За неделю до приезда Нинки, когда со знакомыми было уже обо всем договорено, Ирка ушла из Аликова дома, и как ей казалось, навсегда...

18

Ирина вышла из кафе и остановилась, не зная, куда себя девать. Вероятно, надо ехать домой – Тишорт скорее всего уже дома. К Аликову подъезду подкатил микроавтобус с кондиционером на крыше, встал прямо под табличкой “No standing any time” и выпустил из себя двух человек в униформе. Третий, с чемоданчиком, похожий на облысевшего Чарли Чаплина, семенил за ними.

“Труповозка, – догадалась Ирина. – Домой. Скорей домой”.

Фима встретил служащих похоронки. Надо было развести мизансцену, он кивнул Валентине:

– Подержи ее здесь.

Но Нинка никуда и не рвалась. Она сидела в белом драном кресле и загадочно бормотала что-то, поминая травку, Божью волю и Аликов характер...

В спальне закрылись два добрых молодца и их дробненький начальник. Жалко, что Алик уже не мог улыбнуться этому комическому трио.

Пока Фима договаривался с ними о подробностях церемонии – Чарли Чаплин был вроде администратора среди них, – добрые молодцы вынули из чемоданчика огромный черный мешок из толстого пластика, похожий на те мусорные, которыми по вечерам забиты улицы, и ловким трехтактным движением сунули Алика в пакет, как покупку в магазине.

– Стоп, стоп, – остановил ребят Фима. – Минутку подождите. Чтоб жена не видела...

Он вышел в мастерскую, вытащил покорную Нинку из кресла и унес на кухню. Там он легонько прижал ее к себе и, коснувшись небритой щекой ее длинной, покрытой тончайшими, как будто иглой наведенными, морщинами шеи, спросил:

– Ну, зайка, скажи, чего хочешь? Хочешь, за травкой сбегать?

– Нет, курить я не хочу. Я бы еще выпила...

Он сжал ее запястье, подержал полминуты.

– Давай я тебе укольчик сделаю, а? Хороший укольчик. – Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузырить, чтобы отключить на время.

Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо нее похоронщики вынесли этот черный мешок – как выносят старую вещь, сломанную и ненужную.

Когда работяги открыли сзади люк багажника и сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро.

Потом Фима сделал Нинке укол, она заснула, проспала до следующего утра на той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила:

– Вы меня никогда не слушаете, я же говорила – он выздоровеет...

Народ шел и шел. Многие не знали о его смерти, забегали просто так. Знакомых у него было очень много и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города. Пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому не известные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля.

Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, всплеснул руками, замотал головой, а потом сказал:

– На всё воля Божья...

Да и что мог сказать еще честный православный человек...

Утром, накануне похорон, он заехал за Ниной на своей древней машине, привез ее в пустой храм – службы в этот день не было – и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким полновзвучным голосом лучшие из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, в снопе пыльного света, шедшего с потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу.

Когда умолкли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку. В гроб положить.

Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и усадила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в “роллс-ройсе” на прием в Букингемский дворец.

“Вот бедная птичка осталась на мою голову, – вздохнула Валентина. – Господи боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела?..”

19

Содержатели похоронного дела Робинсы, в прошлом веке Рабиновичи, расштатили всем известную еврейскую негибамость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за последние пятьдесят лет превратились из “Еврейского погребального общества” просто в “Погребальный дом” с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий с самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии не погребенного покойника, в соответствии с его завещанием, продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Он был чечеточник.

Сценарий Аликовых похорон был относительно скромным: никакой религиозной процедуры не заказали, отказались от надгробной плиты – а у Робинса была порядочная гранитная мастерская, – но оплатили место в еврейской, наиболее дорогой, части кладбища. Место, правда, было паршивое – возле самой стены и без прохода.

Церемония была назначена на три часа, и без десяти три холл перед залом был полон. Нынешний Робинс, четвертый владелец безотказного, не знающего экономического спада дела, красивый старик с левантийской внешностью, был в недоумении. Он полагал, что по характеру участников церемонии может сказать о своем клиенте всё. В этой психологической игре он видел одну из самых привлекательных сторон своей профессии. На этот раз он не только не смог сразу определить имущественного ценза клиента, но даже усомнился

в его национальности, на которую, казалось бы, недвусмысленно указывало желание родственников похоронить его в еврейской части кладбища.

В толпе были негры, что крайне редко наблюдалось на еврейских похоронах. Правда, судя по одежде, это были люди артистического мира. Лицо одного старика показалось Робинсу знакомым: это был знаменитый саксофонист, фамилию которого он не мог вспомнить, но видел его то ли на обложках журналов, то ли по телевидению. Присутствовало также несколько южноамериканских индейцев. Среди белых гостей тоже была полная разногласица: солидные еврейские пары, несколько великолепных англосаксов, видимо, богатые галерейщики, а также русские разных сортов – от вполне приличных до шаромыжников, к тому же подвыпивших. Робинс был американцем четвертого поколения, выходцем из России, но вместе с русским языком давно утратил романтическую привязанность к опасной стране и ее шальному народу.

“Странный клиент, – думал он. – Вероятно, музыкант”.

Он даже сделал крюк через служебное помещение, чтобы взглянуть на нестандартного покойника...

Ровно в три вошла Нинка. Все вдохнули – и выдохнули. Из-под черной шелковой шляпы, из-под широкой вуали падали на две стороны ее знаменитые волосы – золото с серебром. Поверх короткого черного платья было накинуто прозрачное туалевое пальто до пят, тоже черное, а туфли были на тот момент старомодными – на высокой платформе, с огромными гранеными каблуками.

Галерейщики застонали, и один шепнул на ухо другому:

– Лиф Вортса, лучшая идея в истории костюма всех времен и народов. Бесподобно. У Алика сногшибательный вкус. Если бы он занимался костюмом, мы бы имели не довольно ординарную живопись, а гениального модельера.

– Изумительная модель, – оценил второй. – Я ее еще три года назад заметил.

– Старая, – с сожалением отозвался первый.

Фима, в голубой рубашке с симметричными пятнами пота под мышками, в сандалиях на босу ногу, вел Нину, испытывая противоречивые чувства острой жалости к бедняжке и глубокого отвращения к роли, которую он вынужден был играть, совершенно не имея склонности к самодеятельному театру. К тому же он в эти два дня успел нахлебаться говна по самые уши, пока добывал деньги на похороны.

Нина шла как “черная невеста”, как сати – индийская вдова, восходящая на погребальный костер. Со дня смерти Алика она помнила только две вещи: что он выздоровел и что его больше нет. Эти вещи не совместились бы в обычном человеческом сознании. Но в ее маленькой головке, празднично посаженной на длинной шее, что-то сместилось давным-давно, как от легкого поворота перестраивается узор в окошечке калейдоскопа, и всё улеглось новым порядком, нисколько не мешая одно другому, в успокоительной отдельности.

Слова “смерть”, “умер”, “похороны” постоянно эти дни звучали вокруг нее, но не проникали сквозь невидимый заслон, им просто не было места в том узоре, который сложился теперь в ее сознании.

Зачем-то ее привели сюда. Это было связано с Аликом. Алик любил, чтобы она была красиво одета. Она тщательно готовилась и продумывала свой наряд для него...

Она прошла через толпу людей, никого не узнавая. Левой рукой она прижимала к груди черную лакированную сумочку в виде трехслойного бублика, а в правой держала толстые стебли лилий, которые волочились своими бело-зелеными надменными головками за подолом ее прозрачного пальто.

Толпа перед ней расступалась, расступились и двери зала как раз в тот момент, когда она к ним подошла. Не замедлив шага, она вошла в зал. За ней расширяющимся треуголь-

ником следовали люди. Очень много людей с цветами, гораздо больше, чем обычно вмещал этот зал.

В торце стоял катафалк, а на нем большая белая коробка, по форме напоминающая футляр от одеклона. В коробке лежала прекрасно раскрашенная кукла в виде рыжеволосого подростка с маленьким лицом и маленькими усиками.

Господин с внешностью телевизионного диктора в годах уже было раскрыл рот, но Нинка прошла сквозь него. И хотя господин был явно недоволен, что экстравагантная вдова так бесцеремонно его отодвинула, он посторонился.

Она подняла вуаль, склонилась, пристально вглядываясь в этот плохой скульптурный портрет из странного неузнаваемого материала, и улыбнулась маленькой понимающей улыбкой.

“Вместо Алика”, – догадалась она.

Когда она подняла голову, то стоящие рядом галерейщики увидели, что от прямого пробора вниз по лицу идет черная тонко наведенная полоска, спускается на шею и исчезает в глубоком вырезе платья.

– Ну, класс, – одобрительно шепнул один галерейщик другому.

– Дамы и господа! – торжественно произнес официальный господин...

Это был точный и дословный перевод той кладбищенской галиматши, которую обыкновенно произносит над фиктивной печью крематория толстая дама в провинциальном костюме из черного кримплена по другую сторону океана...

Гроб полагалось везти на катафалке, и делали это служители. Но участок находился в такой густонаселенной части кладбища, что пронести туда гроб можно было только на руках, да и то наступая на чужие могилы. Метрах в тридцати от места тропка резко оборвалась, оставив только проход в стопу шириной. Мужчины прошли вперед, выстроились цепочкой до вырытой заранее могилы, и белый челнок поплыл, передаваемый с рук на руки, до места своей последней стоянки. Он опасно и весело покачивался над головами. Августовское сильное солнце пригнало вдруг ветерок с океана. Нинка стояла на постаменте чужого памятника, рядом со свежей ямой, земля из которой была аккуратно сложена в жгуче-розовые корзины, а ветер тянул назад черную туаль ее наряда, и линяло-драгоценные волосы шевелились на ветру, как парус.

Ирина стояла в самой гуще толпы. С Аликом она попрощалась давным-давно. Теперь у нее была другая забота: она создавала отца своему ребенку. Собственно, ничего особенного ей и не пришлось делать, они сами нашли друг друга. Ей только пришлось вложить в это предприятие довольно много денег – невозвратных. Вот и эта могила, в нее тоже немало вложено: у девочки был любимый отец и будет его могила. Ирина усмехнулась: всё простила, но ничего не забыла... Я рожала свою дочку в больнице для бедных, а ты в это время миловался с Нинкой и, может, с этой второй телкой, Валентиной... Стоит на полшага сзади, но рядом, место свое знает... Интересно, она хитрая сволочь или просто баба хорошая?.. Какая я стала злая... Алик, Алик, всё могло быть по-другому. А не смогло... И хорошо!

В этой отдаленной части кладбища, у самой ограды, могильные плиты устремились вверх. Вокруг каждой, лежащей горизонтально, вздымалось несколько родственных, стоящих будто на одной ноге. Квадратные угловатые надписи, сохранившие в своей графике память о глиняной дощечке и тростниковой палочке, мешались с английскими, с нелепо готическим акцентом, выдававшим место рождения и в камне воплощенные вкусы давно ушедших людей.

Закрытый гроб стоял на соседней могиле, и подоспевший Робинс, почтивший своим присутствием необычного клиента, скомандовал дирижерским движением – опускать. Валентина что-то сказала Нинке, и та раскрыла свою круглую сумочку и вытащила из нее

пакетик с землей. Она сыпала ее щепотками, как солят суп, и шевелила губами. Двое рабочих ждали наготове с лопатами.

– Погодите, погодите! – раздался вдруг вопль с главной дорожки.

За спинами людей шло какое-то неясное движение, толкотня, трудное и неловкое протискивание. Наконец, растолкав всех, появился пылающий Лева Готлиб. За ним следовало еще некоторое количество бородатых евреев, общим числом десять. Эта команда немного опоздала. Они вылезли из автобуса и заблудились, поскольку у каждого было свое собственное суждение о том, где должна находиться контора. Теперь, натягивая на ходу молитвенные покрывала и тфиллин, расталкивая мужчин и наступая на ноги женщинам, они возглашали первые слова:

– Да возвеличится и освятится Великое Имя Его в мире, который Он вновь создаст, когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни...

Они запели и запричитали высокими печальными голосами, но едва ли кто, кроме Робинса, понимал смысл этих древних восклицаний...

– Откуда взялись эти древнеевреи? – спросила Валентина у Либина.

– Ты что, не видишь: Готлиб привел...

Они так и не узнали, что это реб Менаше позаботился о бедном “пленном ребенке”...

У Валентины возникло подозрение, что евреи слишком уж декоративные, не актеры ли из какого-нибудь маленького театра с Брайтон-Бич.

“Надо у Алика спросить...” – и в ту же секунду поняла, что есть множество, великое множество вещей, спросить о которых ей теперь будет не у кого...

Они прочли поминальные молитвы, это было недолго. Потом передние стали отступать от могилы, задние просачивались вперед, гора цветов росла, была уже Нинке по пояс, а она всё укладывала каждый цветок отдельно, гладила, устраивала не то странный домик, не то мавзолей и улыбалась так, что теперь уже многие заметили, что она похожа на престарелую Офелию.

Потом все попятились прочь, и теперь евреи, стянув с себя белые покрывала и обнажив обуглившиеся на солнце черные костюмы, оказались в числе последних, но Нинка дождалась их и просила приехать в дом на поминки. Самый старый из них, лысый, с приклеенной пластырем прямо к голой голове кипе, подняв две сухие ручки на уровень лица и растопырив желтые пальцы, горестно сказал:

– Деточка! Когда евреи имеют покойника, они делают шиву – садятся наземь и имеют пост... Хотя выпить рюмку водки очень хорошо...

В дымящихся черных костюмах они влезли в микроавтобус, на котором синими буквами по белому было написано “Temple Zion”...

20

Тишорт и Джойка на похороны не поехали. Они остались дома. Тишорт занялась развешкой. Вытащила старые картины, разгребла двухлетнюю пыль, соображала, как повесить. Разом, как глаза у котенка на седьмой день, у нее открылось зрение, она начала видеть Аликовы картины: какую – куда – эту – рядом – ту – выше – ту – убрать совсем... Ничего не надо было решать, надо было только смотреть, а они сами выстраивались по-умному и красиво...

“Пойду искусствоведение изучать”, – решила она немедленно, забыв, что на прошлой неделе уже посвятила себя Тибету.

Ей больше нравились картины среднего и маленького размера, но просилась в торец большая, и она позвала на подмогу Джойку с Людой, и они повесили трехметровое полотно, которое лет пять стояло лицом к стене. Там было очень, слишком уж много всего нарисовано:

какой-то осенний праздник, с виноградом, грушами и гранатами, пляшущими женщинами и детьми, кувшины с вином, дальние горы и человек, входящий под навес...

Люда резала сыр и колбасу, крошила салаты, Джойка медлительно и сонно разносила по всем углам разовую посуду и русско-еврейскую якобы домашнюю еду, купленную в эмигрантском магазине: селедка, пирожки, студень, салат, называемый русскими “оливье”, а другими народами “русским”...

Приехали все сразу, большой толпой. Грузовой лифт поднял их снизу в три приема. Человек пятьдесят сели за общий стол, составленный из досок и всякого хлама, остальные, взявши рюмки и тарелки, как на американском пати, бродили из угла в угол. Удивительно, как при таком скоплении народа может возникнуть чувство пустоты.

Вашингтонские галерейщики тоже приехали. Они ходили по мастерской, как по выставочному залу, и разглядывали работы. Вид у них был недовольный, и минут через десять, когда народ еще и пить не начал, они поцеловали Нинке руку и исчезли.

Ирина смотрела на них без всякого удовольствия – ей еще предстояло с ними потягаться. Как бы там ни было, а денег-то Алику они не отдали и работ не вернули...

Файка оказалась тем знатоком обрядов, который всегда обнаруживается на свадьбе и на похоронах. Она налила рюмку водки, покрыла ее куском черного хлеба и поставила на тарелку:

– Алику.

Так было надо.

Застольно и подготовительно гудели – без громких разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. Разливали водку.

В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми ноздрями, в черной майке с желто-оранжевой надписью. В кармане, в потной руке, она давно уже держала эту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее предъявить.

Нина сидела на подлокотнике белого кресла, а в кресле никого не было. Фима встал с поднятой рюмкой и собрался говорить.

– Послушайте все! – крикнула Тишорт.

Ирина замерла – чего угодно она могла ожидать от своей странной девочки, но только не публичного выступления.

– Послушайте! Алик просил вам вот что передать!

Все обернулись в ее сторону – она багровела на глазах, как индикаторная бумага при химической реакции, но тут же села на корточки и вставила кассету в магнитофон, который, как обычно, стоял на полу. И почти сразу же, почти без паузы, раздался ясный и довольно высокий голос Алика:

– Ребятки! Девчушки! Зайки мои!

Нинка вцепилась руками в подлокотник. Аликов голос продолжал:

– Я здесь, ребятки, с вами! Наливаем! Выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!

Каким простым и механическим способом он разрушил в одно мгновение вековечную стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого неразстворимым туманом, непридуманно вышел на мгновение из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к насильственным приемам магии, ни к помощи некромантов и медиумов, шатких столиков и вертялых блюдецек... Просто протянул руку тем, кого любил...

– И прошу вас, пожалуйста, без всяких мудовых рыданий! Всё отлично! Своим чередом! О’кей? Да?

...Громко всхлипнула Джойка. Окаменела, слегка выпучив глаза, Нина. Женщины, пренебрегая Аликовой просьбой, дружно заплакали. И те из мужчин, кто мог себе это позволить, тоже. Достал из кармана клетчатую тряпочку, прикидывающуюся носовым платком, Фима.

Алик как будто их видел:

– Ну что вы такие прихуевшие, ребятки? Выпьем за меня! Ниночка, за меня! Поехали! Тишорт, детка, выруби на минутку магнитофон.

Потекла пауза. Тишорт нажала на кнопку не сразу, а лишь после того, как раздался снова голос Алика:

– Выпили?..

Она отмотала назад.

Выпили стоя и не чокаясь. Великая пустота, которая возникает после смерти, была заполнена обманным путем. Но – удивительное дело! – она была все-таки заполнена.

Ирина стояла прислонившись к дверному косяку. Она свое раньше отплакала. Но всё равно зацепило – чего же в нем было такого особенного? Он всех любил? Да в чем она, любовь эта, заключалась? Художник хороший? А что это сегодня значит? Не покупают – значит, плохой... Художник по жизни. Художественно жил... А я зачем таскаю свои кирпичи, зачем беру препятствия, зарабатываю кучу денег? Как это нехудожественно... Оттого, дружочек, что тебя со мной не было? А где ты был?

– Выпили? – снова раздался голос Алика. – Я очень прошу, чтобы все как следует напились. Главное, не сидите с плачевными мордами. Лучше потанцуйте. Да, вот что я хотел сказать: Либин и Фима! Если вы сегодня не помиритесь, то будете засранцы. Нас так мало, всего ничего. Выпейте, пожалуйста, в мою честь и кончайте дурацкие разборки!

Либин и Фима через стол смотрели друг на друга, бывшие друзья, мальчики с одного двора, и улыбались запоздалой ругани Алика. Они уже примирились в эти горячие месяцы. В общих многолюдных волнениях этих дней, с танками, стрельбой, московской революцией, в репликах, ни к кому не обращенных, но падающих в нужном направлении, давняя обида развеялась.

– Не чокаются, не чокаются! – заверещала Файка.

– Погоди, из бумаги перелью.

Стаканы грубо и глухо стукнулись.

– Будь здоров, Шершавый!

– И ты будь здоров, Лифчик.

Был действительно некий лифчик, белый, на крупных костяных пуговицах, с растянутыми резинками и проволочными, обвязанными толстой ниткой чулочными застежками. В Харькове, после войны, в позапрошлой жизни...

– Ребята, я не могу вам сказать спасибо, потому что таких спасибо не бывает. Я вас всех обожаю. Особенно вас, девчушки. Я даже благодарен этой проклятой болячке. Если бы не она, я бы не знал, какие вы... Глупость сказал. Всегда знал. Я хочу выпить за вас. Ниночка, держись! За тебя, Тишорт! За тебя, Валентина! Джойка, за тебя! Пирожковой привет, я ее люблю безумно! Файка, спасибо, зайка! Отличные фотки сделала! Нелечка, Люда, Наташка, все-все, за вас! Мужики, за вас! За ваше здоровье! Да, еще хотел сказать: я хочу, чтобы было весело. Всё. Пиздец.

Пленка крутилась с легким шорохом, на ней уже не было никаких слов, но можно было слышать хрипловатые вздохи. Никто не пил. Все молча стояли с рюмками и слушали редкие судорожные воздушные всхлипы, да индейская музыка неравномерно прорывалась в эту пустую пленку с улицы через открытое окно. Все слушали напряженно, как будто можно было там выслушать еще что-то важное, и оказалось, что действительно это не всё раздался щелчок лифта, хлопнула дверь.

– Тишка, выключи магнитофон, – сказал Аликов голос, обыденный и усталый и без всякого пафоса. Тогда раздался щелчок, и всё смолкло.

Сначала веселья не получалось. Было как-то слишком тихо. Алик сделал, как обычно, нечто необычное: три дня тому назад был живой, потом стал мертвый, а теперь занял какое-то третье, странное, положение, и оттого все были в смущении и в печали, хотя алкоголем никак не пренебрегали.

К столу подходили, отходили, таскали из угла в угол тарелки и стаканы, перемещались, склеивались в группки и опять перемещались. Свет не видывал такой пестрой компании: пришли Аликовы друзья-музыканты и еще какие-то отдельные люди, которых раньше никто в глаза не видел, и непонятно было, где он их подцепил и как они узнали о его смерти. Парагвайцы держались слитной фалангой, и только их предводитель выделялся темно-розовым шрамом и общей окаменелостью красивого лица. Колумбийский профессор оживленно общался с водителем мусоровоза. Берману приглянулась Джойка, но он по занятости два года не прикасался к женщине и не был уверен, что джинна следует выпускать из бутылки... А знай он про нее то, что было известно Алику, он бы к ней и близко не подошел: она была девственница и к тому же происходила из древнейшей римской семьи, упоминавшейся Тацитом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.